



**СОФРОН  
ДАНИЛОВ**



**СКАЗАНИЕ О ДЖЭНКЕРЕ**



# Софрон Петрович Данилов

## Сказание о Джэнкире

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=35752664](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=35752664)*

*Сказание о Джэнкире / Софрон Петрович Данилов : АО НИК «Бичик»;*

*Якутск; 2013*

*ISBN 978-5-7696-4213-5*

### Аннотация

Колыма... Трагические следы ГУЛАГа. Кровоточащая людская память. На эти события старейший якутский писатель Софрон Данилов наслаивает современную историю золотодобычи, в которой непримиримо сталкиваются характеры людей, тех, чья психология – уродливое порождение страшного прошлого, и других – кто мечтает о прекрасной жизни, о том, чтобы лебеди – символ вечной красоты – вернулись в родные края. Но возрождение человека и природы возможно только через любовь, говорит автор. Вот почему боль о Джэнкире, недавно хрустально чистой реке, превращается в сказание.

# Содержание

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| ПРОЛОГ                            | 4   |
| Глава 1                           | 14  |
| Глава 2                           | 50  |
| Глава 3                           | 93  |
| Глава 4                           | 131 |
| Глава 5                           | 152 |
| Глава 6                           | 182 |
| Глава 7                           | 224 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 230 |

# Софрон Петрович Данилов

## Сказание о Джэнкире

### ПРОЛОГ

Только начал утирать взопревшее от пота лицо подолом рубахи, как у самых его ног что-то быстро прошмыгнуло; как будто почувствовал и касание. «Это, кажется, Хопто...» – подумал он с облегчением. Но, открыв глаза и подслеповато пошарив вокруг, никого поблизости не обнаружил. Что это могло быть? Неужели просто примерещилось? Не дух ли смерти посетил его ненароком – удостовериться, охота ли ему еще продолжать жить или, намаявшись и махнув рукой на бесполезное прозябание, предпочитает без сожаления покинуть сей опостылевший мир?.. Нет, сам он звать не звал, но приходу Его не удивился и тем более не испугался. Словно даже готов был к этой встрече.

Старый Дархан знал, что умирать не очень страшно: однажды он почти побывал на том свете. Как говорится, одной ногой в могилу оступился – это точно. Выходит, жил как бы заново, родившись второй раз. Впрочем, задерживаться на подобной мысли не было никакой нужды; и она, мелькнув неосязаемой тенью, тут же и рассеялась.

Другое повергло Дархана в расстройство: куда мог запро-

пасться верный друг и страж Хопто? Был бы он сейчас с ним рядом, голубчик Хопто! Беспокойно крутился бы вокруг, ластился, поблескивал-вопрошал умными зелеными глазами: «О чем твоя грусть-печаль?» И развиднелось бы в душе – проглянула бы голубая прогалина среди несусветного мрака. Дархан до сих пор не перестал дивиться: как ни скрытничай, пес безошибочно определял настроение своего хозяина. Хотя чему же удивляться? Это необъяснимое чутье он унаследовал от своего дальнего предка; да и в остальном Он был точь-в-точь копией того, давнего, словно бы родившегося вновь. И общая стать, и острые уши торчком, и вытянутая морда с носом в пестрине, и глаза – две капли воды. И «Хопто» назван он был неспроста – в память и честь своего прародителя, погибшего совсем еще молодым, во цвете лет и сил...

Произошло это, помнится, на втором году войны, где-то в самом конце июля: в тот день на росистой зорьке впервые чиркнул истосковавшейся косой; а то все дожидался, когда луг пожелтеет, как хвост сарыча<sup>1</sup>. И напевал, наверное, – тешился от неизъяснимой радости, словно знакомой до рождения и всякий раз волнующей по-новому. Косил и пел. И так длилось вечность, ибо время для него перестало существовать. Однако и притомился в конце концов.

---

<sup>1</sup> Сарыч – род ястреба. В старину якуты косили только с этого времени, приблизительно с 1 августа, так как считали, что косить живую, т. е. зеленую траву – грешно.

В самый полуденный зной, возвращаясь к своему шалашу на омурган<sup>2</sup>, в просвете между деревьев он увидел подле кострища темную смутную тень – не то зверь какой, не то человек. Испуганный, замер. Остерегаться тогда оснований было больше чем достаточно: в трех-четырёх кёсах<sup>3</sup> отсюда находились золотые прииски, где работали заключенные, жившие неподалеку в лагерях. То и дело доходили страшные слухи: там беглые зеки вырезали семью, а там – и вовсе целый выселок.

Попятившийся назад Дархан тихо свистнул верного пса, оставшегося на опушке рыть мышиную нору, и молча показал пальцем в сторону шалаша. Разразившись громким лаем, Хопто стремглав кинулся к стану.

Сгорбленный силуэт вскочил на ноги – человек! Лучше был бы какой-нибудь зверь... Дархан не успел и подумать, как Хопто уже стремительно обежал его, точно заключая в магический круг, исчез в шалаше, тут же выскочил вон; затем, присев возле незнакомца, внимательно обнюхал его и...

Только увидев, что Хопто как ни в чем не бывало вразвалку трусит обратно, Дархан перевел дух. Подбежавший пес дал знать глазами – мол, опасаться нечего, – и повел за собой робеющего хозяина.

– Здравствуйте... – едва приметным поклоном поприветствовал Дархана нечаянный гость.

---

<sup>2 2</sup> Омурган – дневной обед у сенокосчика.

<sup>3 3</sup> Кёс – мера расстояния, равная 10 километрам.

Был он высок ростом. Молод ли, стар – по облику не угадать: то, что было когда-то человеческим лицом, теперь, дочерна сожженное солнцем, густо поросло рыжеватыми с тусклой проседью волосами. Одежда – ветхие рваные штаны и подобие куртки из мешковины, ноги обернуты в тряпье, из которого торчали наружу голые пальцы. На долгом своем веку Дархану еще не доводилось встречать такого изможденного, в чем душа держится человека – живой скелет, туго обтянутый сухой сероватой кожей.

«Беглец...» Хотя понял – и немудрено – с первого взгляда, Дархана самого удивило: почему его страх не берет? Что-то странное творилось и с собакой: смиренно положив голову на лапы, блаженно зажмурив глаза, лежала себе в тени.

– Дорообо...

Хоть и откликнулся на приветствие, как требует обычай, руки не протянул. Один создатель ведает, что это за человек, что у него на уме. Может, кроток и безобиден он только с виду, а дай повод – что стоит такому, отчаявшемуся, потерявшему самое дорогое в жизни, что может быть у человека, обернуться лютым зверем? Кто может поручиться? Правда, замышляй пришелец что-то коварное, Хопто вел бы себя совершенно иначе: злого человека, как он ни притворяйся, учуял бы своим собачьим нюхом безошибочно. Не промахнулся ни разу. Это и притупляло тревогу. Но все еще не решаясь, что предпринять дальше, стоял недвижно чуть поодаль, не приближаясь слишком.

Между тем незнакомец, показывая пальцем на закопченный чайник, пытался что-то объяснить.

По-русски Дархан и понимал-то всего ничего, но по виноватости в голосе прищельца, по тому, как тот прижимал к сердцу грязную с обломанными ногтями ладонь, по выражению глаз догадался: он просит извинения, что позволил себе без разрешения выпить остаток воды из чайника.

– Ничиво... ничиво... чичас кусат... чай вари...

Опередив Дархана, человек с суетливой радостью подхватил чайник:

– Я – я сам... где у вас вода?

Поняв вопрос, Дархан махнул рукой в глубь луговины, где сам брал воду в старице:

– Там... там... ыллык<sup>4</sup>... хади... – и демонстративно топтался на месте.

«Как же так: человек, видать, зверски голодал, а ничего тут не тронул, ограничился лишь глотком пустой воды?» – Дархан необычайно поразился, обнаружив, что еда, впопыхах им не прибранная, а просто накрытая миской, осталась нетронутой.

Чайник быстро вскипел, и они молча принялись за немудреную трапезу. Поговорить бы, да невозможно: мешало проклятое незнание языка. Однако о чем бы и говорить? Не спрашивать же, кто он, куда и зачем идет, – тут-то, боже упаси, и не нужно никаких слов.

---

<sup>4 1</sup> Ыллык – тропа.

Дархан уже закончил, а незнакомец еще продолжал есть, медленно и тщательно пережевывая, как бы и посасывая мелкие кусочки, которые аккуратно – не уронить ни единой крошки – отламывал от лепешки; неслышно запивал горячим, настоящим на листьях малины чаем. Наконец и он закончил с едой; взглядом поблагодарив хозяина, спросил:

– Скажите, в какой стороне Якутск? Дархан показал рукой на юг.

– А Магадан?

Дархан махнул рукой на восток.

Пришелец поник головой, задумался.

Когда Дархан, управившись с делами, – прибрал посуду, неведь сколько провозился, налаживая испорченные вчера грабли, – вернулся к костру, там уже никого не было. Обеспокоенно озираясь, обнаружил нежданного гостя неподалеку. Тот стоял подле кустов буйно разросшегося на опушке леса дикого шиповника и рассматривал, не оторвать, пылающую кипень кремовых, нежно-розовых, изредка темно-красных цветов. Дархан сочувственно вздохнул. Он знал: нехороший человек так увлеченно к цветам не потянется.

Вернулся незнакомец с каким-то просветленным, не похожим на только что бывшее, лицом.

– Спасибо вам, – проговорил с едва приметным поклоном и вздохнул: – Прощайте, добрый человек! Не поминайте лихом.

Когда повернулся, чтобы уйти, Дархан придержал его за

рукав:

– Тохтоо<sup>5</sup>... Чичас...

Торопливо направившись за шалаш, он взял из ямы-временки, приспособленной под кладовку, половину запасов лепешек, весь рыбный харч, положил все это в краснополосатый матерчатый мешочек и протянул незнакомцу.

Тот с недоверчивым видом взял довольно увесистый мешочек, заглянул в него и вдруг с задрожавшими губами закрыл лицо руками и упал на колени...

Спустя два дня на луг, где Дархан ставил копны, дробной рысью въехали двое вооруженных военных. У одного из них за седлом поперек на широком крупе лошади возлежала огромная, волчьей масти немецкая овчарка.

– Эй, ты! Посторонних людей тут не видел?! – Грозный голос клокотал в глотке бравого всадника, который при этом встопорщил по-тараканьи жиденькие светловатые усишки. – Здесь мимо никто не проходил?!

– Н-нет... – чуя недоброе, тихо обронил-выдавил из себя Дархан.

Вдруг овчарка глухо заворчала, тяжело, с утробными всхлипами, точно внутри у нее закипел и забурлил поставленный на огонь котелок, задышала, принюхиваясь, оскалила огромные клыки и, спрыгнув сверху, пружинисто приземлилась на сильные лапы.

Сердце Дархана екнуло: сзади к седлу второго, угрюмо

---

<sup>5 1</sup> Тохтоо – постой, задержись.

молчащего военного был приторочен краснополосатый мешочек его! И вдруг мороз бритвой полоснул по лицу: что-то большое, круглое, тяжелое бултыхалось в нем. Чем могло быть это «что-то» – сомневаться не приходилось. Но именно поэтому и не смел поверить, гнал с суеверным страхом прочь очевидную истину, пойми которую до конца – и не сдержать предательского вопля – выдал бы себя с головой.

– Чего молчишь, азиатская харя?! – бешено гаркнул первый военный, поигрывая желваками и скрипя мерцающим золотом зубов. – И прочь отсюда! Это не твоя земля! Наша!

Дархан опустил голову. Мимолетно он успел заметить горящие лютой ненавистью желтые глаза овчарки, пенящуюся разверстую пасть, из которой с клыков тянулась клейкая слюна, и понял, что настал его последний, смертный час.

Вдруг откуда ни возьмись, Дархан так и не успел взять в толк, прочертив воздух белой молнией, верный Хопто оказался перед разъяренной овчаркой, заслонил своего хозяина.

«Зачем?.. зачем?..» – плеснулось в замершей было душе Дархана, уже смирившегося с неизбежным и потому забывшего бояться за себя. И тем более невыносимо мучительно страдал за друга, выбравшего разделить его долю-судьбу. Ужас, оставленный в той, отошедшей, казалось, жизни и теперь вновь охвативший все его существо, возвращал-вытягивал из пустого пасмурного пространства небытия. И это воскрешение было так болезненно, что вроде бы простонал сквозь омертвевшие губы. Может, только почудилось. Ужас

же рос. Хопто, в сравнении с этой чудовищной зверюгой, выглядел просто смехотворной малявкой: загрызет в мгновение ока и не заметит. «Уж лучше бы я один пал жертвой... Ведь Хопто все равно никак меня не оградит...»

– Хопто... – через силу, выжал из себя Дархан. – Хопто... Ты иди... иди прочь...

Овчарка, едва покосившись с величайшим презрением и уже не обращая внимания на чужую собаку-недомерка, изготавилась к мощному прыжку, чтобы в привычном броске подмять под себя человека-жертву – и начать рвать его в клочья, глубоко запустила длинные когти во влажную землю.

– Хопто... – тихо прошелестел в последний раз умоляющий шепот Дархана. Краткий миг, равный высверку молнии, – Хопто полуобернулся и взглянул на хозяина.

Словно кто раскаленным шилом ткнул Дархана в изболевшееся сердце: в глазах пса – ясных, чистых, мудрых и как некогда раньше красноречивых – он успел прочитать одновременно и беспредельную любовь, и бескорыстную преданность, и непоколебимую решимость. Понял: тут никакие мольбы не помогут. И другое понял: пытаться прогнать верного друга, пусть хотя он спасется, не в его власти. Нет у него в эту минуту такого права. «Видать, конец нам обоим...»

– Барс! – крикнул с седла светлоусый. Таким ласково-беспощадным голосом он, ясно, всегда натравливал на врага превосходно тренированного зверя, и тот послушно, с наслаждением исполнял приказ.

Вздыбив загривок и хрипло заурчав, овчарка прыгнула.

Дархан стоял не защищаясь, закрыв глаза. Цель – горло с перекатывающимся кадыком – была открыта. Мелькнула разъявленная красная пасть, растопыренные грязные когти...

...и тут же грозный рык прервался, сменился отчаянным предсмертным воплем.

Еще оглушенный, только что слышавший жаркое дыхание на лице, обрызганном липкой слюной, и не смея поднять руку, вытереть ее, Дархан смотрел как сквозь матовое, мутное стекло – не верил собственным глазам: прямо у его ног валялась с разорванным горлом издыхающая овчарка и билась в предсмертных конвульсиях.

– Барс!.. Барс!.. – истошно, рыдающе заорал-застонал светлоусый и двинул коня грудью на Дархана.

Овчарка судорожно дернулась еще несколько раз, вся как-то обмякла, словно из нее выпустили воздух, и вытянула ноги...

Разъяренный и испуганный охранник рывком выхватил из-за спины карабин и, то матерясь, то захлеб вопя что-то нечленораздельное, раз за разом стал стрелять в Хопто, который по-прежнему сидел, загораживая собственным телом своего хозяина...

# Глава 1

*Утро*

*7 часов 30 минут<sup>6</sup>*

– Да... да... Понял... Зарубим... – еще довольно моложавый, лет от силы под сорок, черноволосый, спортивного телосложения человек в отутюженном, без единой морщинки, сером костюме и белоснежной рубашке торопливо подавал в телефонную трубку эти слова-реплики. По тону, коим они произносились, не составило бы труда догадаться: подчиненное лицо заверяет в чем-то вышестоящее. Кажется, весьма и не на шутку раздосадованное; не исключено, даже разгневанное.

– Ляжем... Разобьемся, Евграф Федотыч... – Поймав очередную паузу, Кэремясов, секретарь Тэнкелинского райкома партии, всюю грудью, точно надувал футбольный мяч, выдохнул – Обещаю! Слово коммуниста, товарищ Воронов!

Странный то был разговор. Хуже: подозрительный. Посторонний, очутись он невзначай свидетелем, да к тому же окажись не из числа беспечных лопухов, каких подавляющее большинство среди народонаселения, из числа созна-

---

<sup>6 1</sup> Указанное время (здесь и дальше) – хронометраж ненормированного рабочего дня героя сего романа, секретаря райкома.

тельно-бдительной части его, вмиг бы усек-учуял неладное – скажем, сговор матерых махинаторов о хищении социальной собственности. Не исключено, и в особо крупных размерах.

Глупо и смешно, конечно, сомневаться, что «где надо» не разобрались бы досконально, в чем дело, и не пожурили бы наивно-ретивого добровольца за ошибку. Что ж, что говорили на непонятном языке? Это смотря кому загадочка – для профессионала тайны никакой. К примеру, ежели вышестоящее лицо грохнет кулаком по столу: «Зарубите себе на носу!» – что обязано отвечать лицо подчиненное? «Зарубим...» То же и с «разобьемся» – ответ на не подлежащий обсуждению приказ: «Разбейтесь в лепешку, а!...» Ну и так далее и тому подобное.

Было бы отчего сконфузиться тому «постороннему». Ну, да ведь и на старуху бывает проруха. Эх, тютя! Бедолага горемычный!

*7 часов 45 минут*

Хотя в завершение разговора начальство позволило себя утешить, смягчилось и, сменив гнев на милость, выразило уверенность в успехе – речь, между прочим, шла о выполнении государственного плана, – Мэндэ Семенович чувствовал себя выпотрошенным; сидел нахохленно, глыбисто ссутулясь. Глаза его тупо и полубессознательно елозили-разъезжались по испещренной пометками – восклицаниями, птичками и прочими ему лишь одному ведомыми закорючками-за-

гогулинами— глянцевої страниці тома в красному переплеті. Видно, штудіював ретельно і скрупульозно — не аби як. Настольна була книга! І тепер вості звернувся к ній, готуючись к доповіді на наступному пленумі. За тем, власне, і прийшов в райком ні світ ні зарі: в кабінеті славно і просторно думалося. Іменно в ті рідкі щасливі години, коли бував один і міг з насолодою, без перешкод предатися мисленням, не побоюючись, що хтось з нескінченних відвідувачів порушить вільне течія їх; і залишиться в душі гірко-ватно-мутний осадок недодуманності, недовистраданності. Точно перерваний в самий цікавий момент сон...

Роздумувалося в кабінеті о ділах не тільки державних. Не гнав прочь і інших, звичайних мислей, коли уж відвідували — що ж! А похвалу, і льстило: не сухарь, не прожжений бюрократ, стало бути. Вибрикувала, сталося, і некая лихость. Некий, краще сказати, кураж: «Де, извините, написано, що секретарю райкома повинно бути чуждо щось-будь людське?» І зморщився не без задоволення, наче в цей момент одержував верх в суперечці. Так і було: і сперечався, і одержував.

Торжествувати перемогу легко. Трудніше уміти гідно пережити поразку. Сьогодні Кєремясов не відчував сам себе. Залишилася порожня оболонка, а його не було. Не було — і все тут. Віру в містику — так і вирішив. Слава богу, заперечував її принципово як лженауку. Це і рятувало. Це і принесло прозріння. Мука і відчай, якими він реально відчував

в эту минуту, не могли быть вне его плоти, вне его сознания, наконец.

— Да-а, положеньице... — узнал свой голос, хотя и прозвучавший как бы издалека, сдавленно. Обморок, кажется, начал проходить. И все же что-то невероятное продолжало с ним твориться и теперь. Он действовал чужой волей. Расскажи ему кто-нибудь (это мог быть невидимка, невесть каким образом оказавшийся в кабинете), какие жесты он производил в эти роковые мгновения, не поверил бы: «Не может быть!» — расхохотался бы. Но, увы, было. Что же? Так, подняв руку, откинуть со лба волосы («Всегда пользуюсь для этой цели расческой»), странно поразился и прерывисто захихикал, обнаружив в этой самой руке намертво зажатую телефонную трубку; после чего, досадливо крикнув (ну, кто бы не крикнул в этом разе?), шваркнул ее на аппарат («Чепуха! Не в моем характере срывать зло на чем или на ком-либо»). Э-э, уважаемый Мэндэ Семенович, не спешите — главное впереди. Вы, конечно, скажете, что не помните, как ваше собственное тело само выпросталось из-за стола и принялось шагать взад-вперед по широкой темно-бордовой дорожке, расстеленной в вашем скромном кабинете? «Ну, знаете, это уже полнейший бред! Умопомрачение какое-то!» А это называйте как хотите. Но было. Было...

Происходил ли такой душераздирающий диалог с невидимкою, Кэремясов тоже не помнил — некие впечатления действительно выскользнули-улетучились из памяти. Про-

вал зиял – что верно, то верно.

*8 часов ровно*

Очнулся – точь-в-точь налетел на протянутую огольцами поперек дороги бечевку – перед портретом красивого боль-шелицевого человека с невообразимо густыми, по-молодому черными бровями. Он ободряюще, почти по-отечески смотрел на Кэремясова. «Я верю в тебя, Мэндэ! Ты не подведешь!» Возможно, говорил он другими словами, но смысл их, можно поручиться, был именно таков. И не мог быть другим.

«Ответь же!» – бухнуло, взорвалось сердце. Что? Как? Брякнуть с бухты-барахты: «Спасибо Вам за доверие!»? Не то! Нет, не то. Наверное, и нет подходящих слов. Захотелось взлететь. Радость проросла и, шумя победительно, плескалась-билась за спиной крыльями. Как раз сейчас ему была необходима духоподъемная сила – и вот она!

Мэндэ Семенович искренне любил этого Человека. Гордился быть его современником! Не-ет, не пустые фразы то были, не фанфаронство или, тем более, холуйское раболепие. Скажи: «Умри за него!» – не дрогнул бы.

Стало стыдно. Ох стыдно! «Это тебе-то трудно, Мэндэ, а ему каково? На его плечах – ДЕ-РЖА-ВА-А! Кто бы не надорвался, не износился под такой ношей? – И гнев полыхнул в груди: – Да-да, иные подонки: диссиденты и внутренние эмигранты – потешаются, дожидаются со злорадством, когда же Он собьется во время речи. Гогочут, гады!» Кэремясову

казалось, что никто на целом свете не понимает и не сочувствует этому человеку. Но ведь должен быть кто-то, кто бы и понимал и сочувствовал? И это был он...

С усилием оторвался от портрета, сел за стол. Сразу же выхватил взглядом фразу из Его труда – не зря была подчеркнута жирной чертой: «Не может быть партийным руководителем тот, кто теряет способность критически оценивать свою деятельность, оторвался от масс...» Вторая часть цитаты тоже замечательная по глубине и мощи мысли: «...плодит льстецов и подхалимов, кто утратил доверие коммунистов» – к нему лично, Кэремясов мог побиться об заклад на что угодно, не относилась; но первая... касалась. И не только его – всех!

Взглянув еще раз с благодарностью на стену, Мэндэ Семенович приказал себе успокоиться: «Хватит нюни распускать, Мэндэ! Коммунист ты в конце концов или олух царя небесного? Думай, дорогой, думай, как выйти из положения!» Раскинуть мозгами и в самом деле было о чем. Еще как было.

*8 часов 15 минут*

«Что-о?! Предпринимать меры вы только собираетесь? О чем же, черт подери, вы, голубчики, думали до сих пор, а?.. От кого-кого, от тебя, Мэндэ, не ожидал, что подложишь такую свинью! Не ожидал, брат». И возмущение, и скорбь со слезой – в бурливом рокоте Евграфа Федотыча. Понимай так: не позвони он, не растормоши – сами и не почесались бы. Нет, не почесались бы. Куда там!

Кто бы, посторонний, вообразил, что кряжистый и в то же время легкий на подъем, с хитровато-ироническим прищуром в добром расположении духа, секретарь обкома может быть крутым, жестким. Уж он не станет гладить по головке провинившегося в чем-либо, будь он ему хоть сват, хоть брат. Это знали все. За то и уважали. Иные, конечно, покряхтывали, поеживались, но и те по здравому размышлению приходили к выводу: повезло! Федотыч не выдаст! Федотыч – человек!

А что суров нынче Воронов – причина на ладони: вероятно, вчера вечером перед ним положили сводку из объединения. И соленые, даже, может, забористые словечки и выраженьица, употребленные на сей раз не ради некоего шика, вызваны тою же причиною. «Пустые меры к...! Нужен план! Понимаешь ли ты – пла-ан?! Любой ценой!»

Оскорбиться, разумеется, проще пареной репы. Позволить себе такую роскошь Кэремясов не мог – не имел права. Шевельнулась было обида: что он, малое дитя? Не сообщает, что план (как и Евграф Федотыч, произносил это слово с заглавной буквы) – святое дело? Загнал подленькую мысленку в щель – не высовывайся! Ишь, ты! Легко прожить хочешь, товарищ Кэремясов, – дудки! И другая мысль выскользнула: «А ему что, сладко? С него тоже шкуру дерут! Требуют: вынь да положь! И не кто-нибудь – сама Москва! А дальше, как водится, по цепочке: центр – с него, он – с меня, я – с директоров и парткомов приисков. Все мы в одной

упряжке». Мэндэ Семенович понимал – ох как понимал! – Воронова. А понимая, жалел душевно. И не желал себе ни малейшего снисхождения. Принял бы, пожалуй, за оскорбление: страдать – так уж всем! «Правильно делает, что наживает! Еще и мало! Подраспустился кое-кто...» Себя не исключил тоже.

Что план горел синим пламенем – факт. Мало сказать «прискорбный» – катастрофа!

А кому хуже всех? Ему – Федотычу! Он – хозяин области. Он и в ответе за все. И опять, не впервой уже, прихлынуло сочувствие. «Не дай бог оказаться на его месте». Если и лукавил – самую малость. В иные минуты залетал, случалось, и в горные выси. Но не теперь. Нынче о другом заботушка. Совсем о другом: «И вправду, я не выполню план, второй не справится, третий не сдюжит – что тогда будет с нашим государством?» Воображения представить Кэремясову не хватило. Да и возможно ли вообще представить такое?

Тогда-то и вылетело: «Обещаю!»

Впрочем, не раскаивался. Наоборот. В тот момент это слово было единственным, необходимым, которое он должен был произнести.

Во-первых. Именно этого слова ждал от него секретарь обкома.

Во-вторых. Оно было нужно и ему самому – сжигал за собою мосты. И вот теперь отступать некуда. Тем лучше. Оставалась одна дорога – вперед!

ПЛАН! Велик-то он велик, но ежели собрать все силы в один мощный кулак, бросить вдохновляющий клич, мобилизовать неисчерпаемый энтузиазм народа, то...

Такого же мнения до самого последнего времени держалось и руководство комбината. Еще весной на партийно-хозяйственном активе района было принято соответствующее постановление. Усомнился тогда хоть кто-нибудь? Нет. Куда там, каждый норовил перещеголять в обещаниях другого. Усмешка криво скользнула по губам Кэремясова. Гордость ли, горечь ли, не сказал бы и сам, выражала сия мимолетная машинальная гримаса? Если и печаль таилась в ней, – было отчего. Раздражали скептики и прочие нытики. Их сопротивление Мэндэ Семенович ощущал кожей, чуял нюхом их присутствие на каждом шагу, хотя никто не рисковал высказываться вслух. Если бы рискнули – вот их примитивные доводы, знал слово в слово заранее: «Сочинить план на бумаге – раз плюнуть, выполнить его на деле, промывая горы песка, – это о-го-го!» Детский лепет! Ладонь сердито пошлепывала по столу. По-ихнему план составляется с кондачка. Не-ет. Подобные горе-критики не хотят понять, что он базируется на реальных, подтвержденных капитальной разведкой цифрах. Это же ликбез! Арифметика для первого класса! Какой руководитель добровольно полезет в петлю: взвалит на себя план, заведомо обреченный на провал?

Кэремясов расстроился: и с такими «умниками» при-

ходится дискутировать, гробить драгоценное время! Пусть спорил мысленно – выматывался вдрызг. И такая первобытно-дремучая тоска охватывала вдруг – завывать бы! И выть... выть... выть... Изойти воем. Сам себе порою не мог дать отчета: не плюнуть ли на все – и?.. Что «и» – а черт его разберет, что... Вот и теперь. Ну кто мог подумать, что не где-нибудь, на Чагде – крупнейшем прииске не только в районе, но и во всей республике! – золота окажется гораздо меньше, чем ожидалось? Разведка наобещала золотые горы, а на деле – пшик! Отвечать в первую голову опять же ему. И разговор «там» может обернуться всяко. Не исключено и эдак: «Не обеспечили план, уважаемый товарищ Кэремясов, – партийный билет на стол!» Это, конечно, крайний случай. Но и он возможен. Смотря под какую руку попадешь. Под горячую – цацкаться да церемониться не будут. «И правильно!» – согласился внутренний голос.

Чудо! Только оно выручило бы...

Умей Кэремясов молиться – взмолился бы. Горячо. Страстно. И вознесся бы его немой вопль: «Помоги! Сделай, Всемогуший, так, чтобы Чагда не скупясь подарила богатую россыпь! Яви щедрость, Всемиловитый! Что тебе стоит?»

Да, так оно и было. Просто не знал Кэремясов, что он молится-взывает всем существом, ибо опять уже впал в невменяемость; опять его тело не принадлежало и, значит, не подчинялось ему – автоматически, точно пьяное, моталось взад-вперед по кабинету.

А тут и голоса стали слышаться.

«— Кацо, бремя на моих плечах находится на критической черте. Добавь хоть грамм — мне каюк!»

Узнал: Мурад Георгиевич Кайтуков, директор прииска Аргас. Лет двадцать тому прилетел на Тэнкэли из Осетии. Здесь и семью завел, здесь и облысел. Но мужчина еще крепкий. Как говорится, орел — до последнего дыхания орел.

И другой голос возник.

«— Даст бабушка Томтор — выполним. А не даст...»

Он, он, главный инженер Петр Петрович Бястинов, тугой на язык, жадный на обещания. В действительности же не станет сидеть с подставленной ладонью, ожидая даров от «бабушки», — без шума и крика сделает все возможное.

А это чьи слова?

«Хватит! Это безумие без передыху носиться на предельных скоростях! Лично я не согласен так жить дальше ни одну минуту! Хочу нормальной человеческой жизни: вовремя засыпать и вовремя просыпаться, посещать филармонию, ходить в кино! Хватит с меня! Освободите меня от этого адского ярма!» — И даже пахнуло въедливым запахом «Прибоя».

Узнал и без того: Евгений Витальевич Кудрявцев, хозяин прииска Табалаах. Горяч! Темперамент как у табунного жеребца — вот и несет... Ничего, ничего. Пусть полыхает пламенем из ноздрей — скорей успокоится...

*8 часов 55 минут*

Пять минут, оставшихся до начала рабочего дня, Кэремя-

сов позволил себе вздремнуть.

*9 часов ровно*

– Доброе утро, Мэндэ Семенович!

– Доброе, Нина Павловна. – «Какое там «доброе»! Чернее черного!» – подумалось само собой.

– Сегодняшняя почта. – Секретарша плавным изящным движением положила перед ним красную дермантиновую папку.

Тяжело вздохнув, Кэремясов открыл ее было, но тут же и решительно захлопнул.

– Этим займусь позже. Я там кому-нибудь нужен?

– Нужны. И многим. Редактора газеты я направила ко второму секретарю – хочет показать новую передовицу. Нектягаева, бригадира из совхоза «Тэрют», сплавила в управление сельского хозяйства.

– Зачем он приехал?

– За ветврачом.

– Ладно. Хорошо.

– Председателю поселкового Совета Зубко требуется, чтобы водовозную автомашину добыл для него именно первый секретарь райкома.

– Ну и как?

– Как миленький потопал в райсовет. И вообще все рвутся обязательно к первому секретарю. Как в бытность Ефрема Тихоновича...

Кэремясов прихмурился: не поощрял, когда при нем в

непочтительном тоне упоминали его предшественника.

Нина Павловна поперхнулась было, но закончила непримиримо, еще более твердым, холодным голосом:

– Прошло уже больше года, а никак не привыкнут. Ничего. Привыкнут.

– Хорошо, – Кэремясов побарабанил пальцами по настольному стеклу. «Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Как в слышанной недавно частушке, – подумалось с укоризною, но и, признаться, с некоторым удовлетворением. – Давно пора менять стиль руководства! Ох давно! С первых же дней он установил неукоснительный порядок: пусть никто не ждет, когда соизволит открыть рот первый секретарь, не ждет ничьего указующего перста – сам распоряжается на вверенном ему участке. Такой принцип замечателен тем, что дает людям большую самостоятельность, расковывает инициативу, повышает их гражданскую ответственность...» – И сама мысль, и красивые слова, в какие она облекалась сейчас в его уме, – все это не могло не радовать Кэремясова. – Но... иногда мы, кажется, переигрываем. Вот, например, с этим бригадиром из «Тэрюта» не мешало бы встретиться, обсудить, что и как...

Пока подыскивал мягкие слова, должны бы укротить рвение секретарши, и когда наконец нашел, осекся: на лице Нины Павловны обнаружил явную обиду. «Зашла же она в совершенно ином настроении, так? Или он не обратил внимания? С чего это она вдруг разобиделась? Вот преле-

сти совместной работы с женщиной! Будь на ее месте мужик, – не потребовалось бы никаких китайских церемоний. А тут... Но в смысле аккуратности, исполнительности работник она – поискать. Да и вообще приятно: красивая женщина!» Подумалось без каких-либо потуг на фамильярность; тем более исключалась возможность каких-то шашней. Вслух произнес:

– Передайте директору комбината Зорину: пусть срочно зайдет ко мне! И пока он будет в моем кабинете, никого ко мне не пропускайте.

– Слушаюсь!

«Ну вот опять... Так, по-военному, отвечает, когда чем-то недовольна, – в порядке, так сказать, скрытого протеста».

Пока Нина Павловна обиженной походкой еще шествовала к двери, Кэремясов склонялся уже над красной папкой.

*9 часов 5 минут*

Прошла по меньшей мере минута, после чего Кэремясов с тяжелым вздохом раскрыл папку.

«Отчего же герой обязательно должен любой пустяк делать с «тяжелым вздохом»?» – наверняка подумал какой-нибудь въедливо-дотошный читатель. Тут же и заподозрил автора в суконном бытописательстве или, еще не слаще, допотопном натурализме.

Увы, дорогой читатель, на сей раз, извини, ты жестоко ошибся. И вздох, и тяжесть его – не архитектурное излише-

ство стиля, сушая правда. Поставь-ка себя на место героя, — запоешь ли? Того и жди очередной неприятности! Но что до Кэремясова, не только в том дело: с этого мгновения как бы переступал черту, за коей кончалось все личное и начиналось служение...

Почту открывало директивное письмо из обкома партии «О дополнительных мерах к предстоящему охотничьему сезону».

Как реагировать, если план, само собой, поднят до потолка? А так: тужиться, ясно, придется из последних сил. Но просто тужиться — мало. Рассуждаем логично: достигнем ли положительного результата? Нет, не достигнем. Значит, надо расширить клеточное звероводство. Соответствующая телеграмма в Госкомснаб послана? Послана. А-а, вот и ответ! Так и предполагали: «Железной сетки для звероферм в наличии не имеем...» Обещание: завезут в следующую навигацию... Врут? Само собой. Что делать? Хандрить? Канючить? Дудки! Рукава, можно сказать, засучены — держитесь двери инстанций и контор: кулаков жалеть не будем. Не надейтесь!

Азарт, сродни охотничьему, охватывал Мэндэ Семеновича всякий раз, когда наступал священный час биться не на жизнь — насмерть с бюрократами и чиновниками! Представлял их в образе дьяволов. Себя ощущал легендарным Боотуром. Конь ржал. Меч сверкал молнией.

Ого! Пакет из самого Центрального Комитета партии! «Для принятия мер» по существу жалобы заведующего сбер-

кассой. Ну, лиса! Его сняли с работы за беспробудное пьянство, а он – ишь, жук навозный! – настрочил, будто подвергся травле в отместку за нелицеприятную критику...

Кэремясов огорченно замотал головой: «Эх, голуба, кого вздумал вводить в заблуждение – партию! А-я-яй! Теперь уж придется исключать из рядов. Тогда пожалели. А теперь обязательно придется. Оказывается, он не только алкаш, но и кляузник!»

*9 часов 20 минут*

Вдруг дверь кабинета резко распахнулась...

– Гражданин! – Голос Нины Павловны, странным образом огрубевший, вибрировал от гнева. И предназначался он некоему нахалу в огромных, с голенищами выше колен, охотничьих сапожищах.

– Я вам не гражданин, а товарищ, товарищ Муськина! – резким фальцетом прокричал человек, уже влетев тем временем в кабинет.

– Товарищ!!!

Но... было поздно: Кэремясов, поднявшись из-за стола, выкинул обе руки навстречу «буре», на какую походил сей наглец гражданин-товарищ из-за его ураганом раздувшегося старого брезентового дождевика. В то же время этот жест служил сигналом Нине Павловне умерить ретивый пыл и не волноваться за жизнь его, Кэремясова: прорвавшийся посетитель был его давний-предавний знакомец и вовсе не террорист.

Разумеется, Нина Павловна знала это тоже. Кто же не знал в районе Тита Черканова? И если ныне помощник секретаря райкома готова была грудью заслонить своего «шефа», то потому, что ей внушил опасения дикий, с горящими очами вид Черканова, вбежавшего в приемную. Теперь же, исполнив свой служебный и гражданский долг, она могла с чистой совестью ретироваться, оставив их наедине.

Кэремясов, улыбаясь, шел навстречу «скандалисту» с распахнутыми объятиями.

Черканов словно бы без видимых усилий скользнул мимо, метнул картуз, который мял в руках, на длинный стол, приставленный перпендикулярно к рабочему столу хозяина кабинета.

Только что голосивший фальцетом, гость заговорил почему-то хрипловатым баритоном:

– С каких это пор наш Мэндэ являет свой блистательный лик перед нами, мелкой сошкой, аки милость?

Кэремясов в ответ ласково шурился, любуясь неподдельной яростью доброго знакомого.

– И почему это у всех чинуш быстро укореняется привычка ставить у своих дверей караул? Боятся покушения на свои священные особы? Кому они нужны?

«Какие люди! – Кэремясов с нарастающей нежностью взирал на разошедшегося посетителя. – Не боятся резать в глаза правду-матку невзирая на лица!» Гордился эпохой. И собой тоже: вот он, первый секретарь, слушает горькую истину

и... не топает ногами, не бьется в истерике, требуя, чтобы замолчал. А мог бы? Вчера бы – еще как! Выскользнуло из памяти: «О времена, о нравы!» Впрочем, вчера не сидеть бы ему в этом кабинете.

– Если так пойдет дальше, глазом не успеете моргнуть – оторветесь от трудящихся масс! Тогда пиши пропало! И для вас все будет кончено! – не унимался правдолюбец. – Растение без корней долго не живет. – Последнее сказал зря. Фраза явно не вписывалась в торжественный слог героя трагедии, произносящего обличительную тираду бюрократии всех времен и народов.

Кэремясов – символ ее, в глазах трибуна, – вовсе не был таковым, как мог бы решить легковерный читатель, особенно нынешний, 'всеми фибрами души презиравший и ненавидящий чиновников всех сортов. Поэтому-то он и улыбался поощрительно, хотя, надо признаться, кошка царапнула его сердце острым коготком разок-другой.

– Ладно, Тит Турунтаевич, не стоит балагурить чересчур. Как можно работать в постоянной шумихе, в суетной круговерти? Надо ведь и поразмышлять в тихом уединении. Лучше садись и поведай о последних новостях в вашем наслед<sup>7</sup>. – Замечательно, заметим, что Кэремясов невольно принял высокий стиль, предложенный ему неожиданным, но, судя по всему, милым его душе собеседником.

– Некогда рассиживаться с тобой и разводить туры на

---

<sup>7</sup> 1 Наслег – якутская деревня.

колесах, – пробурчал между тем, сдаваясь, Черканов, погружаясь, как в облако, в емкое круглое кресло, в которое сел по неосторожности. Тут же подскочил ошпаренно, переместился на твердое. – Сюда я наведалься поторопить завоз товаров в наше сельпо. Сегодня утром должен был вернуться.

– Чего же застрял?

– Среди ночи позвонили, что у нас в трудных родах изнемогает Хобороос Дабанова. Надобно роженицу немедленно доставить в район – требуется срочная операция.

– Так в чем дело, громоподобный парторг?

– В том, великий тойон<sup>8</sup>, что в авиаотряде мне дали под задницу сапогом: у них, видите ли, лимиты министерства здравоохранения исчерпаны! А человек пусть помирает? Это как, дражайший секретарь райкома?

– Безобразие! Хамство! – Кэремясов не верил своим ушам. Задохнулся от возмущения.

– А ты, конечно, в первый раз слышишь, не так ли? Тебе неизвестно, что на охоту для начальства вертолет всегда готов к их услугам? Ну откуда тебе и знать, бедный? – И еще не преминул вдобавок уязвить колючим, ядовитым вопросом, на который Кэремясов поначалу не обратил внимания – Кстати, не думал, почему вас, чиновников, тянет на стрельбу?

Мэндэ Семенович посуровел каменно, успокоив легким пожатием руки вскочившего было Черканова, стремительно

---

<sup>8 2</sup> Тойон – господин.

шагнул к телефону.

– Леонид Сидорович? Вы почему не послали санитарный вертолет в совхоз «Артык»?

Телефонная трубка долго и нудно что-то бубнила, хрипела, булькала.

– Я вас выслушал. Теперь выслушайте меня вы, – проговорил Кэремясов медленно, спокойно. – Вам совершенно справедливо был объявлен в свое время выговор! Смею надеяться, не запаматовали, за что именно?.. Ну так вот, слушайте меня внимательно: не позже чем через полчаса вертолет должен вылететь по назначению, врач к вам сейчас прибудет. Об исполнении доложите моему помощнику. У меня все.

Кэремясов, обернувшись с покровительственной улыбкой к Черканову:

– Вертолет сейчас пойдет!

– Не может быть! И как это тебе, Мэндэ Семенович, удалось? Поделился бы секретом с нашим братом, а... – В глазах Черканова зарябила усмешка.

– Не издевайся, бисов сын! – желая шуткой скрыть свое смущение, погасил Кэремясов улыбку. – Ну прав! прав ты: работы с кадрами невпроворот! – И доверительно, как бы и жалуясь: – Сам знаешь, как подзапустили мы это дело в былые-то годы... Эх, не хватает нам людей, браток! – Изливая наболевшее, Кэремясов меж тем включил селектор:

– Нина Павловна, через полчаса в совхоз «Артык» вылетает санитарный вертолет. Обратным рейсом в аэропорту его

должна встретить машина «скорой помощи». Проконтролируйте, пожалуйста. – Повернув голову к Черканову, добавил: – Тит Турунтаевич, ты сейчас куда?

– Подался бы домой.

– Значит, попутно... Нина Павловна, распорядитесь, пожалуйста, чтобы Черканова с врачом срочно подбросили в аэропорт на нашей машине.

– Слушаюсь, товарищ Кэремясов!

Мэндэ Семенович скривился как от зубной боли. «Ну и самолюбие у этой дамочки! Настоящая мегера! А впрочем...» И зависть, и восхищение были тоже. Блаженство – откинуться в кресле. Пусть минуту – побыть одному. Забыться. Если бы... Что-то засвербело в мозгу. «Хм! Что это спросил Тит? Кажется... кажется... Ах, да: «Почему, мол, чиновники любят побаловаться ружьишком?» Любопытно! Ну и Тит! О хитромудрый змий! Дока... А и вправду: почему?» Сам Кэремясов не был не то что заядлым охотником – никаким, что его, коренного якута, отнюдь не украшало. Кажется, отвлекся. Почему же все-таки? В голове вдруг что-то шелкнуло, шелкнуло, выскочило крамольное, прилипчивое, хрипатое: «Идет охота на волков, идет охота...» Вроде что-то диссидентское? Автора вспомнить не смог. Да и нужды не было – какой-нибудь прощелыга, шелупонь богемная... Додумать не успел. Включившийся селектор официальным голосом Нины Павловны произнес:

– Зорин объявился!

– Пусть заходит! – Спыхватился: обдернулся в слове. Надо бы: «Просите, пожалуйста!» Пожурил себя насчет того, что следует подавать пример подчиненным, тогда и спрашивать.

*9 часов 45 минут*

Глаза чуть навькат. Горбонос – правда, не по-орлиному. Лет под шестьдесят. Плотен. Лепили, похоже, глину замесили крутенько. Мят-перемят. Видать, пожевала его жизнь, да, пожевав, и выпустила на дальнейшее существование. Впрочем, эти помятость и небрежность в костюме не раздражали Кэремясова, в принципе уважающего опрятность и чтобы во всем с иголки. ... Таков был при беглом взгляде Михаил Яковлевич Зорин. Именно он теперь и «объявился».

Но перед тем как ему войти и вяло, но не небрежно поздоровавшись, угнездиться в круглое кожаное кресло, выкинуть на стол распечатанную раздрызганную пачку «Беломора», необходимо сказать хотя бы пару слов об этой весьма примечательной, колоритной личности. Тем более что время, потраченное на рассказ, не входит в заявленный нами хронометраж, ибо оно – ослепительный просверк в сознании Мэндэ Семеновича, чиркнувшая темь неба дальняя зарница...

Про Зорина Кэремясов был наслышан еще с самого детства – вернее, про Тааса Суоруна, что значит Каменный Ведун. Так окрестили еще молодого (в Тэнкели приехал за год до войны) геолога местные старцы. Они зря не скажут.

Понятно, наиважнейшую роль сыграл и счастливый характер русоволосого русича – простота и душевность: что среди уходящих в верхний мир, что среди явившихся лишь на белый свет – всюду он свой. Язык, что ли, какой волшебный ему ведом? Кто вообще знает, как удастся такое-то? Эта мысль, признаться, некоторое время очень занимала Кэремясова; да потом и гадать бросил. Ясно стало: талант такой человеку дан – быть всегда человеком. Гадать-то вроде прекратил, но чувствовал, не уйти ему от этой мысли. А почему и к чему она приведет его, Кэремясова, – новая тайна. Ох какая манящая! Ох какая мучительная! А что, не сладкая разве?

Теперь же другое: вся надежда – на Тааса Суоруна! Зря, что ли, Кэремясов, став в прошлом году секретарем райкома, искренне возликовал, когда узнал, что именно легендарный Зорин, видящий землю насквозь и глубже, заправляет здесь на посту директора золотокомбината? Именно эта давняя радость, вдруг очнувшаяся и проклюнувшаяся в сердце, точно спешащий на волю пушистый цыпленок, вселяла в него неопровержимую детскую веру, что какой-то выход найдется-таки. И найдет его человек, которого он уважает. Который... который... В общем, Таас Суорун! Если не он, то кто же? Последняя надежда – Таас Суорун!

– Вынужден, Михаил Яковлевич, сообщить вам весьма пренеприятную новость... – Тон, выбранный Кэремясовым

для начала разговора, должен был, по его задумке, заинтриговать собеседника.

Уже успевший окутаться густой дымовой завесой, Зорин вопрошающе выблеснул яркими точками сквозь колеблющуюся синеву.

«Не смеется ли чертов батька? – насторожился Кэремясов. – Кажется, нет». Успокоившись, продолжил буднично:

– ...звонил из Якутска Воронов... – выдержав паузу до невозможного предела, чему, к слову, мог бы поучиться актер, мечтающий играть в чеховском репертуаре, – секретарь обкома... Воронов. – Хотя должность имярека можно было и не называть: Федотыча знали все. – Интересуется планом.

Гром грянул. Кэремясов не рискнул сразу же посмотреть в сторону Зорина: результат мог быть плачевным, ибо как знать, какое впечатление произвело это грозное предупреждение на директора.

Крепкий, видать, орешек – даже желваками не заиграл. Аккуратным плавным жестом отодвинув дым, начал удобнее устраиваться в кресле: разговор обещал быть непростым. На другой и не рассчитывал. Да и зачем приглашен в райком, догадывался – не чай распивать.

– Был звонок и мне – из объединения. Но одно существенное «но»: у меня не спрашивают, а только твердо обещают.

– Что обещают? – И надежда просквозила в голосе.

– Снять! – Зорин присмолил от окурка новую папиросу. – Поскорей бы выполнили свой посул. Я им великое спасибо

сказал бы, от всей души.

– Нас с вами подобра-поздорову не снимут. Можете быть уверены!

– То-то и оно, – Зорин легко, с готовностью согласился. – Немудрено, если полетишь вверх тормашками.

– Ладно. Оставим это, Михаил Яковлевич. Не то страшно, что вверх тормашками. Не оправдать доверия – позор! Тягчайшая вина перед партией! – Начало беседы отнюдь не устраивало Кэремясова; она устремлялась явно не в то русло. Выходила какая-то дичь. Посиделки. Не хватало только выпивки, чтобы поплакаться друг дружке в жилетку. Кажется, этот, прошедший огни, воды и медные трубы жох не принимает всерьез ни его самого, ни его тревогу...

Зорин почувствовал нахмурившееся настроение хозяина кабинета:

– Это верно, Мэндэ Семенович, – позор. Сгоряча ляпнул. Да уж чересчур жестко трет холку этот треклятый хомут. Невмоготу. – Как бы извиняясь, смущенно вдавил в пепельницу недокуренную «беломорину», отпружинил из кресла и грузно навалился грудью на стол: – Что еще сказал Федотыч?

– Хоть кровь из ноздрей, а план (в отместку за легкомыслие произнес для Зорина «план» с маленькой буквы) должен быть сделан!

– Ну, а ты?

– Что я?.. Пообещал. – Вздох вышел протяжно-жалобным. Не хотел ведь сочувствия – так уж получилось. Помимо во-

ли.

– Вот и я... тоже пообещал своему начальству. Иначе нельзя. Ежели сейчас начнешь отбрыкиваться – пиши пропало. Завопят: паникер! Заблаговременно настроился на поражение! Не сумел задействовать все резервы! Лучше уж попытаться отбояриться в конце года. Найдем, на что сослаться. Разных обстоятельств пруд пруди. А там, глядишь, и выплывем.

«Опять понес свою околесицу! – с досадой мысленно поморщился Кэремясов. – Откуда у нас эта привычка придуриваться?» Возмущал и лагерный жаргон. Хотя, знал по анкете, Зорин не подвергался необоснованным репрессиям. Вообще мужик вроде интеллигентный. Да и с высшим образованием.

Но не это глубоко задевало, даже оскорбляло: хитрован Зорин ловко втягивал его в свою пусть не явно преступную, но, как бы выразиться точнее, не слишком чистоплотную аферу. И делал это, шельма, так осторожно – не придерешься. «За кого же он, любопытно, меня принимает?» – не то развеселился, не то обиделся Кэремясов. Пожалуй, все-таки огорчился. И тем острее, чем больше почитал Тааса Суоруна. Не имел он морального права провоцировать на грубый обман человека, столь к нему расположенного... А коли так, был вынужден заговорить иначе:

– Должны мы или не должны оправдать доверие партии, страны, если угодно?! – Не нашлось других слов. Эти ж всегда наготове. Чем плохи? Правда, затрепаны, но ведь... Тут

же и смягчил тон – Я вызвал вас послушать, что вы, опытейший заслуженный геолог, скажете на это?

Не то чтобы не принял лесть, да и не было ее, Зорин меж тем увернул в сторону:

– Только подумать – оторопь берет. Кому мы должны: партии! стране! Голову поднять – и то страшно. – Натужно произнес все это с опущенной головой, уже и не русой, а скорее пегой, сединою прихваченной.

«Сколько же можно валять ваныку, прикидываться казанскою сиротою? Всякому терпению бывает предел, черт возьми! Секретарь райкома я в конце концов или не секретарь?»

– Так, извините, Михаил Яковлевич, говорится не для красного словца. Так и есть на самом деле.

– И вы извините меня, Мэндэ Семенович. Я понимаю... Разговор по душам явно не клеился. Что ж! Оставалось перейти на безличный деловой язык.

Кэремясов так и сделал:

– Надеюсь, вы провели совещание ведущих специалистов, как было условлено?

– Да.

– Ну и?..

Зорин молча растопырил руки.

«Да он что же, издевается надо мной? Я кто для него – мальчик?» Оскорбительность ложных отношений, какая неизбежно возникла между ними, становилась почти очевидной. Еще не знал, что родившееся вдруг подозрение

теперь не уйдет бесследно, как прежде. Снисходительной усмешкой уже не отделаться. И вопрос: «Кто же он для людей, которыми обязан руководить?» – занозил мозг и душу. Побелев в суставах, пальцы вцепились в подлокотники кресла. Кэремясов громадным усилием давил клокочущее и готовое вот-вот вырваться наружу возмущение. Правда, на этом совещании он должен был присутствовать лично, но не смог: из-за нелетной погоды застрял в отдаленном участке совхоза. Ну так что из этого?

– И к чему все-таки пришли?

Зорин неопределенно шевельнул плечами.

Грохни сейчас Кэремясов кулаком – стало бы легче. Не мог. «На меня же, секретаря райкома, повышают голос – я не обижаюсь. А если ради пользы дела?» И все равно не мог. «Рохля! Мямля!» – пружинно взвился с кресла. Заметался по кабинету.

Зорин продолжал сидеть невозмутимо; лицо у него при этом оставалось отрешенно-потусторонним.

Таинственная сила несла Кэремясова взад-вперед. «Неужели зря он уповал-верил в находчивый ум этих людей, ветеранов золотодобычи района, знающих до мелочей все секреты и сокровенные тайны здешних мест, проводших лучшую пору своей жизни в суровых условиях Заполярья? И вот на тебе: их патриарх разводит руками, пожимает плечами!.. Если бы подошли к делу со всей серьезностью, близко приняли к сердцу, – разве не нашли бы выхода?.. Главное,

было б желание!.. Или... не понимают трагичности положения?.. Или... не хотят помочь ему, Кэремясову?» Точно налетев на стеклянную стену, остановился напротив Зорина:

– Та-ак... Значит, вы собрались, поточили лясы и преспокойно, ни в чем не разобравшись, расползлись по печкам?

– Почему не разобрались – посоветовались.

– Ну и?..

– При полнейшем напряжении сил можно увеличить добычу на два-три процента.

Кэремясова окатило ледяной водой, дрожь прокатилась по всем членам:

– Два-три процента нас не спасут! Понимаете ли вы это?

Как ми-ни-мум десять – пятнадцать!

– Если только свершится чудо: наши прииски по щучьему веленью превратятся в Клондайк. А иначе мы не в силах.

– Мы не в силах... не в силах... – машинально, как в бреду, повторял Кэремясов. И при третьем или четвертом повторении ему все яснее открывалась немыслимая глубина пропасти, какая разверзлась перед ним. Она и потянула.

Когда, казалось, долетел до самого дна ее, поразился, что слова Тааса Суоруна – истинная и неопровержимая правда...

Но это прозрение, забравшее у него столько душевных сил, длилось не более минуты:

– Так что же, товарищ директор, распишемся в поражении и будем куковать сложа руки?

– Зачем «сложа руки»? – Зорин перевел старославянский на современный русский, начал было выуживать из пачки очередную папиросу, но тут же задвинул обратно. – Будем биться до последнего. А коли не справимся, – что ж поделаешь...

Неужели только минуту назад он, Кэремясов, едва не скис, готов был дезертировать с поля боя? Позор! О! Не было бы ему прощения во веки веков!

– Должны справиться! Во что бы то ни стало! Надо всю силу, ум и волю всех до единого тружеников приисков нацелить на выполнение плана! Пожертвовать всем, буквально всем!..

И опять осекся. Чертовщина какая-то! Показалось, что только что говорил вовсе не он, а кто-то другой. И как? Мертвыми, казенными лозунгами, надерганными из очередной «передовицы». Кого он пытается воспламенить – уж не Зорина ли? Да этот матерый волк сам кого хочешь сагитирует. Боясь увидеть его глаза, был уверен: играют там, в прищурившейся глубине, искрящиеся змейки. «И правильно...» – незряче уставился в окно.

Зорин не смеялся.

– Да-да... Вы правы... – печально шевелились губы, а мозг был занят совершенно другим. – Пожертвовать... пожертвовать всем...

До смеха ли? Душа поскуливала-повизгивала. Будто и не душа вовсе, а приبلудный кутенок.

«Кем он меня считает?» – в который раз щелкнула в мозгу назойливая мысль. Знал, что не отвяжется. И еще знал Кэремясов: так жить – не объяснившись начистоту, – нехорошо, неправильно и, может быть... нечестно. Не знал только, что предпринять, чтобы изменить ложные отношения.

Зорину же было жалко этого молодого, в общем-то, похоже, неглупого и даже как будто искреннего человека куда больше, чем себя. Себя тоже было жалко. И еще кого-то. И еще... А главное, было жалко чего-то, что он не сумел бы, как ни тужься, назвать. И вряд ли вообще этому «чему-то» существует точное и исчерпывающее определение...

Кэремясову было жалко себя.

Зорин очнулся первым:

– Простите, вы что-то сказали, Мэндэ Семенович?

Приходя в себя, Кэремясов с удивлением уставился на Зорина. Тряхнул-потряс головой:

– Ах да. Ведь вы, Михаил Яковлевич, в Тэнкелях, если не ошибаюсь, без малого сорок лет? Бывали ли случаи, когда план срывался?

– Разумеется.

– И что вы тогда делали?

– Я, слава богу, в те годы не тянул директорскую лямку.

– И все-таки вы как инженер были в курсе дела?

– Что делали? Виновных предупреждали, лепили выговора направо и налево, с треском вышибали из партии. В годы войны два директора приисков как саботажники и «враги

народа» прямиком угодили за колючую проволоку...

– Жуткие времена! Будьте уверены, Михаил Яковлевич, они никогда не вернутся!

– Дай бог...

– Не могут вернуться!

– Думаете, я не хочу верить в это? Да это единственное, во что я верю. Но не вернутся миллионы людей и... те двое... – Глаза Зорина глядели на Кэремясова прозрачно и пусто. И голос, которым он говорил, был тускл.

Кэремясов, однако, заметил еще раньше: такие люди не кричат от боли; и чем она мучительней, тем тише и обыденней выражают свои чувства.

– Что теперь поделаешь... – То ли хотел утешить Зорина, то ли утешиться сам.

Глаза Зорина остались неподвижны, разве что еще больше похолодели.

– Простите, Мэндэ Семенович, не могу я просто так говорить об этом. Простите меня...

Вышло крайне неловко, и Кэремясов тотчас понял это. Желая попасть в тон Зорину – говорить просто и без надрыва об ужасной трагедии, он неведомо почему заговорил как обыватель, искренне убежденный, что нет и не может быть темы, разглагольствовать на какую он не имел бы права. И попробуй выказать ему невнимание – оскорбишь до глубины души и превратишься в его смертельного врага.

Кэремясов спохватился, но уже поздно. Возникшая тя-

гостная пауза понадобилась перемочь эту самую неловкость.

– Я понимаю вас, Михаил Яковлевич, – извинился тоном. – Не будем об этом... Продолжим наш разговор. Так, значит, все руководители несли каждый свою кару?

– Почему «все» и почему только «кару»? Бывало, некоторых возносили до седьмого неба. Тех, кто, как говорится, использовал «новые резервы».

– Это как?

– Стоит ли ворошить прошлое?

– Не томите, Михаил Яковлевич, сами же заинтриговали – не успокоюсь, пока не узнаю.

– Ну, слушайте, если желаете. Так вот: года два-три спустя после Победы с планом, извините, кранты... Впрочем, и не могло быть иначе – цифирь спустили фантастическую! Удаться легче. Чушь и бред – одним словом. Иной убежал бы на край света, да дальше – некуда! Ждут-пождут мужички судьбы своей решения, рукой на себя махнули... – Как матерый опытный рассказчик, нутром чуявший, слушатель уже доведен до белого каления, не спешил плескнуться из ледяного ковшика, дабы тот зашипел и, окутанный сизым паром, млел от жути, приشلепывая к макушке поднявшиеся дыбом волосы. Кряхтя и кхекая, Зорин принялся выуживать «беломорину» и, выудив наконец, стал хлопать себя по карманам. Коробок лежал прямо перед ним, но почему-то его не видел. Вероятно, от волнения, какое сулило дальнейшее развитие истории.

Слегка, почти неуловимо подрагивающими руками Кэре-мясов поднес зажженную спичку. Благодарно кивнув, Зорин затанулся с необыкновенным, никогда прежде не испытываемым наслаждением.

– Ну...

– Ах да... Тут-то и объявился некто Ермолинский. Прощел, доложу вам, Мамаем: головы сшибал, как кочаны, – одним махом, без разбору. Но успеху дела помогло не это, а совершенно другое... – Зорин замолчал, прикрыв веки.

– Ну...

– Год назад в Онхое, отсюда рукой подать, было открыто богатейшее месторождение – золото греби лопатой! Сами понимаете, требовалась детальная разведка, точный подсчет запасов, чтобы открыть там, значит, новый прииск. Когда это может быть? Несколько лет пройдет – не меньше. Золото же дай сегодня! Прежние-то вахлячки-мужички дрожмя дрожали – не трогали, думать боялись: как можно тронуть?.. Вы понимаете, о чем речь. Ермолинский плевать хотел на любые запреты! Едва назревала опасность провала плана, – на Онхой выбрасывали сварганенные из разного сброда и швали, уголовничками тоже не брезговали, бригады старателей... В общем, Онхой стал чем-то вроде амбара, куда заглядывали при крайней нужде. Нужно признать, Хозяин пользовался тайной кладовой аккуратно: намоют недостающее золото – ша! Вот так что ни сезон и перекрывал план с лихвой. И слава о нем гремела аки трубы иерихонские... – Прижег потух-

шую папиросу.

– Что же, все молчали?

Зорин, усмехнувшись:

– Может, и не все. Да на что, извините, ГУЛАГ? А он во-круг да около...

– Да, конечно... – обжегшись только что, не посмел касаться этой темы. – А что с ним стало позже?

– Что и должно было: на белом коне, сияя орденом, въехал в Белокаменную. Уверен теперь и раньше подозревал, что о разбойничьих замашках Ермолинского прекрасно знали и руководители Дальстроя.

– Ну, это уж вы слишком, дорогой Михаил Яковлевич!

– Э-э, дорогой Мэндэ Семенович, не притворяйтесь непорочным ангелом! Ворон ворону глаз не выклюет. А такой тип, как Ермолинский, был им нужен до зарезу. Вы уж поверьте. К счастью, вы не застали те времена: тогда всего добивались «любой ценой».

Вздрогнул от неожиданности. Не он ли, Зорин, подслушал его разговор с Евграфом Федотычем? Нет... Не может быть... И не похож на ясновидящего!.. Отмахнул подозрения. Благо, и неясны были. Так, смутное что-то, расплывчатое.

– Нда, история! Ну его к ляду, этого... – запнулся, вылетела прохиндейская фамилия.

– Ермолинского, – подсказал Зорин.

– Вот именно, – Кэремясов огорченно вздохнул. И облег-

чение было в дыхании. – Так, значит, Михаил Яковлевич, ничего присоветовать не можете?

– К сожалению, Мэндэ Семенович.

– Что ж на нет, как говорится, и суда нет. У якутов существует пословица: «Что не осилит топор, осилит совет». Придется еще раз встретиться с народом. Надо мобилизовать коммунистов на борьбу за выполнение плана. Нужно всем без исключения – от простого рабочего до директора комбината – проникнуться одним духом, одним стремлением. План должен быть выполнен! Во что бы то ни стало!

– Дай-то бог!

– Не бог! – Кэремясов вырос над столом. – Мы, коммунисты, должны этого добиться!

– Да и я сказал в том же смысле.

Аудиенция была закончена.

– Мэндэ Семенович, к телефону! – возник в селекторе голос Нины Павловны.

Кэремясов болезненно поморщился. «Могу хоть на минуту дать ему передышку?» – всем несчастным видом умолял о пощаде.

Пощады не последовало. Наоборот.

– Звонят из Борулаха. Там у них лошади пали.

– Что-о?!

Кэремясов резко схватил телефонную трубку.

## Глава 2

О юный олененок-тугут<sup>9</sup> в крылатых сандалиях! Сон ли, фантазия, наваждение? А если сандалии-туфельки расшиты диковинными голубыми цветами, узором затейливым, – только рукам человеческим такое подвластно. Стало быть, и не сон как будто. Стало быть, не видение.

Чаара!

Ча-а-ра...

Не олененок то – девушка, легко и плавно несущаяся по тропе, перевитой корявыми узлами корневищ. Тропа крута, извилиста. Тропа – к вершине горы Буор Хайа.

Ча-а-ра...

Мать-Земля! Что за чудо чудное произвела ты на свет? Загадала такое иль само оно, своей волей и умыслом явилось людям на думку и удивление – чтобы снова поверили они в нерукотворное, неизъяснимое, небывалое? Худо жить без такой веры-то.

Как описать ее словесно? Музыкой лишь можно выразить. Но попробуем, хоть и надежды нет. Так ведь и выхода иного тож. Кто зрел первозданное или тоскует о нем невыразимо, может быть, и откликнется душой. Может быть...

Несется ввысь олененок-тугут. Ах! Гибкий тонкий стан,

---

<sup>9 1</sup> Тугут – олененок.

стройная – стебель лилии – шея, ровный нос с чуткими крылышками, трепещущими от легкого дыхания... А личико! Что за личико – смугловатое, круглое, освещенное влажными черными очами. Непугливыми, но сторожкими.

Чаара – Глаз Ласкающая! Кто видит тебя сейчас, кто любит тебя некорыстно, несуетно, независтливо? О таком любовании у кого душа не занимается?

Горы теперь любовались Чаарой... Но только об этом позже – терпение.

Несется ввысь олененок-тугут. Невесомая? Кажется, трава-мурава не приминалась от мягкого бега-касания; наоборот, благодарная, тянулась было за нею вслед, но, скоро забыв о Промчавшейся Ветерком, продолжала свое существование, счастливая уже по-новому.

На бегу, как умелый пловец, взмахивая обнаженными по самые плечи руками-крыльями, девочка вскинула точеную головку и, замерев почти неуловимо, примерилась: до террасы, куда стремилась, – ох как не близко. Небрежной отмашкой скинула со лба бисеринки пота, и опять пошли мелькать ее точеные, с загорелыми крепкими икрами ноги в крылатых сандалиях-туфельках. Мелькают и голубые цветы – узор искусно-затейливый, руками человеческими вышитый...

Небо чистое – стеклышко. Ни одного белого перышка, ни завитка, ни загогулины. На солнце лучше и не смотреть – ослепнешь. Парит. Все окрест оцепенело, застыло – томле-

ние блаженное. Листва не шелохнется. А это кто? Точно стайки говорливых девиц, взявшихся за руки и замерших вдруг, – купы разнотала. С чего замерли? Перед чем обмерли, замороженные? Пролилась внезапно песнь чудотворных птиц – стерхов. Слышать их – слышат многие. А кто видел танец белых журавлей, что не селятся рядом с людьми, а живут неведомо где, наособь, – избранный. Он и будет счастлив воистину.

Несется ввысь олененок-тугут. Белое ситцевое платьице в мелкую, с брусничную ягоду, крапинку мелькает между деревьями. От бугорка – к ложбинке, от ложбинки – к бугорку. Олененок в платьице? Почему бы нет? Чудо ведь.

Иногда на опасном вираже Чаара протягивает руку к ближайшему деревцу – и мгновенно, уследи попробуй, взлетает-взметывается на гребень очередного взлобка. «Спасибо, деревце!»

«Остановиться тут? Достаточно обзору будет и с этого места», – мигом и сгнула робкая мысль. Чаара в досаде крепко прикусила губы. «Что это я? Струсил или обессилел? Нет, нет! Еще, еще...»

Чем выше поднималась она, тем воздух становился прохладней; комарье и вовсе сгнуло.

Наконец-то – желанная терраса! Она подошла в тот момент, когда, казалось, задохнулась уже; казалось, еще шаг – упадет ничком и не поднимется. А тут как тут снова спасительное деревце. Ухватившись за протянутую ветку-руку,

Чаара впрыгнула на приступок и... очутилась на ровном, словно поверхность стола, плато. Туго спружинил под ногами ковер ягеля.

Обернулась— склон горы, снизу казавшийся пологим, на самом деле и крут, и тягуч, и высок. Деревья у подножия не больше шахматных фигур: двигай ими как сумеешь.

Ча-а-ра!..

Широко раскинула руки, приподнялась на цыпочки, не спеша набрала полную грудь воздуха и... нет, не полетела птицею! А может, и полетела? Раскинувшийся внизу дол таял, терялся в безбрежном белесоватом мареве.

Где ты, Чаара?

Там, где только что была, — нет ее. На том месте — свечечка с едва приметным стерженьком внутри. Колеблется огонек. Так это она и есть: солнце насквозь пронзило ее, растворило в своем сиянии. Вот если бы вдруг, откуда ни возмись, приплыла туча — на ее фоне видна стала бы. А так — словно и нет ее, моей Чаары.

Да кто бы так видел в необоримой мощи и дивной красе ее родную северную землю?

Джэнкир...

Название округа — по имени реки. Тоже Джэнкир. Значит то — чистая, прозрачная. Кажется, силенки в ней — кот наплакал, а раздвинула могучий горный хребет, пропилила в нем глубокую щель и бежит себе аж до самой реки Таастаах.

Долина речушки то расширяется, то сужается, перемежается то долом, то лощинами, то округлыми аласами<sup>10</sup> с озерами посередине, окаймленными густой порослью осоки и аира. А бывает, окольные горы подступают с обоих берегов близко друг к другу, вот-вот сомкнутся-соются навечно, намертво в каменном объятье, – тогда Джэнкир, натываясь на отвесные скалы, бьется бешено и кипит в узком ложе... Вырвется на простор – и еще прозрачнее, чем была. Воистину Светлая! Каждый камешек в глубине – самоцвет неслышанный. Нет ему цены. Но купить нельзя. И не думай! Любоваться – что ж, сколь душе хочется да сколь может.

Что еще сказать? Нет нигде воды слаще, нет и целебнее. Рану ли, душу ли вылечит – и воскреснешь для новой жизни. И счастлив будешь опять-таки.

Детвора, коль под ложечкой засосет и приустанет до изнеможения, прибежит к речке, упрется дрожащими ручонками в гальку, припадет иссушенными губами к хрустальной струе и будет пить без передыху, пока не заломит зубы. Через минуту – ни голода, ни усталости. Как рукой сняло. И носятся вновь по-прежнему – точь-в-точь шишки, закрученные буйным вихрем.

Есть ли рай на земле? Вот он!

Коротко северное лето – взмах журавлиных крыл. А разгорелось вдруг, рассиялось – и все кругом охвачено пышноцветеньем. Буйство неукротимое! Не иначе – по манове-

---

<sup>10</sup> 1 Алас – поляна с озером посередине.

нию волшебной палочки мир, оцепеневший под жестким ледяным панцирем за зиму, вновь явился влюбленному взору сказочно. Объясни иначе-то.

Праздник Преображения! Край мой отчий! Забьется ли еще когда-нибудь сердце с такой нежностью и светлой печалью? Хватит ли сил перенести это чувство одному? Теперь мы вдвоем – с Чаарой. Она – мои глаза. Она – мое сердце.

Джэнкир – рай земной!

Чего-чего только нет здесь: плотнотелая лиственница, обдающая ароматом хвои; светлокора́я сосна, разбежавшаяся по высоким песчаным гривкам; острым копьём вонзившаяся в небо ель, упорно выбирающая себе тенистые впадины и промоины; белоно́гая береза, любящая красоваться по опушкам аласов; гибкие тальники; колючий можжевельник; бегучие кущи стланика. А это что за красавец? Тополь. Даже в центре Якутии не сыщешь его днем с огнем. Здесь – пожалуйста!..

Океан Волнующийся – разнотравье необозримое.

Мать-Земля! Позволь восхититься нелицемерно твоим неистовством и фантазией! Поражаюсь, с какою страстью и выдумкой Ты предаешься творению – украшаешь жизнь благолепно и радостно! Да и на пользу тож живым существам: размножайтесь и благоденствуйте!

А горы!..

Что может сравниться с ними в этом прекрасном и благо-

словенном мире? Какое гордое в них величие! Какое могущество некичливое!

Чаара неожиданно для себя оглянулась. Поймала таинственный взгляд, идущий откуда неведомо? Отчего ж беспокойство?

Ча-а-ра...

Кто окликнул ее? Почудилось?

Горы стояли во весь горизонт. Невозмутимые. Загадочные. Не они ли окликнули? Но откуда им знать ее имя? Безотчетное смущение, которое почему-то переживала в эту минуту Чаара, перешло в чувство вовсе уж не понятной ей и необъяснимой виноватости. Может, оттого, что кто-то ждал ее здесь, надеялся, что вернется, а она и думать не думала о «ком-то», для кого вся жизнь, весь сокровенный смысл ее – взглянуть хотя бы единым глазком на нас, блудных детей, – возвратившихся; и уверить себя, что и в беспамятстве мы тосковали о них. Вернулась же? Случайно. Этого могло бы никогда и не произойти.

Горы же между тем, морща свои каменные лбы, мучительно пытались что-то вспомнить. И вдруг – узнали в ней ту прекрасную девушку, которая когда-то, тысячу, а может, миллион лет назад, точно так же олененком-тугутом мчалась по гребню горного склона...

Но только та девушка была не одна. За ней в серебряной тунике скользил юноша. Звал ее: Ча-а-ра! А она летела с развевающимися на бегу волосами и смеялась... Ах да! Волосы

у той девушки были похожи на золотые струи, у этой – чернее ночи. Значит, сестры? И сомневаться нечего.

Куда потом исчезли те девушка и юноша? Наверное, вернулись на свою родину – невидимую с этого края земли звезд ду Эль-Сухейль. А может, и на какую другую. Мало ли звезд на ночном небосводе? Они ушли не на совсем – оставили на земле имя. Его запомнил тростник.

И вот эхо отозвалось – Ча-а-ра!..

Подошло облако. На нем четко прорисовалась фигурка. Чаара стояла с зажмуренными глазами. Долго ли? Кто мог знать это. Но вот, тряхнувши головкой, отогнала что-то смутное, поглядела на мир полным взором и... тоже как будто что-то вспомнила. Узнала.

Эти горы, которые она видела теперь наяву, приходили в ее сны, точно звали-манили ее; и тогда она на миг просыпалась – взволнованная, охваченная каким-то неясным предчувствием счастья, громадностью будущего ее существования и еще чем-то, не имеющим определения, – ощущением, которое должно же было стать когда-то мыслью.

Где-то Чаара вычитала, что «у действительно настоящих людей (тогда же подумала: «Значит, есть и ненастоящие?» – но не задержалась на этом) сердце склонно к добру». Горы эти подобны таким людям. Вот она сейчас нежится на их живой зеленой груди и наслаждается необозримой ширью родной земли. Не будь гор, кто бы вознес ее в поднебесье? И

вот что еще удивительно. Некоторые жалуются, что при виде гор чувствуют себя ничтожной букашкой. А Чаара – наоборот: стоит ей взглянуть на горы – кажется, вроде бы и в росте прибавляет, и умом-разумом возвышается. Не мысль еще – тоже предчувствие. А родится мысль-то? Обязательно. Радость тому порукой.

И не знает Чаара, что уже думает, – сердце трепещет от радости. Оно мыслит.

Глаза-очи сияют восторгом первооткрытия и первознания – они мыслят.

Радуйся, дитя человеческое, во дни молодости своей! Наступит пора скорби – не отчаивайся, что жизнь беспросветный мрак и юдоль слез. Не забывай, что цвела невозможным счастьем! Радуйся! Ликуй!..

Запомни родной алас Кытыя, праздничным хороводом берез окаймленный. Посредине – зеркальце. Озерко с бычий глаз, не более. А в нем золотое колечко плавает.

Присмотрелась Чаара – да вон она, их избушка, притулившаяся на дальнем краю аласа. Ни возле нее, ни около хотона<sup>11</sup> живой души не видать. Куда же все подевались? В прятки с нею играют, что ли? Не спешить – кто-нибудь да объявится, не выдержит. Так и есть. Вот из летника, что стоит на опушке леса, показалась корова. Эриэнчик. Значит, бабушка, старая Намылга, только что управилась с дневной дойкой. Что-то она сегодня долго провозилась. Утром, когда Чаара

---

<sup>11</sup> Хотон – загон для скота.

вызвалась ей помочь, замахала-заплескала руками: «Иди да иди!» Дедушка, старый Дархан, во-он в той дальней лощине, вниз по течению, пасет молодняк. Он сейчас там с верным псом Хопто. Утром Хопто увязался было за Чаарой, но старик грозко цыкнул на него и увел с собой, а внучке сказал: «Бедных моих подопечных наверняка замучили комары, надо бы развести побольше дымокура. Попутно проверю вершу. Днем домой не приду, так что наведайся ко мне – за рыбой. Угощу внучку свежим хариусом».

Джэнкир – рай земной.

Но, видимо, неугомонные люди нашли место еще лучше – почти никого не осталось тут. Семья за семьей потянулись на центральную усадьбу совхоза. Вот и родители Чаары перебрались туда же. Говорят, ради дочки и сына: к школе поближе. Похоже на правду. Но правда ли?

Лишь старики Дархан и Намылга не поддались никаким уговорам покинуть родное урочье. Что с них взять – темень дремучая. И все же родичи не устают звать их к себе в центр, да старичье уперлось – упорствует и круглый год коротает свой век в привычном исстари гнездовье. Намылга хоть и ворчит иногда: «Лучше бы переехать, жить с людьми, на миру, да этот выживший из ума старикан уперся, как бык, и его не сдвинешь», но и ей, похоже, далеко еще не разонравилось жить в своем обиталище.

Родина...

Что она значит? Почему люди (во всяком случае многие из них), добровольно покинувшие или насильно отлученные от отчего дома, умирают от тоски? В каком-то журнале Чаара прочитала удивительную историю: в Париже, кажется, зачали экзотические цветы, и никто-никто, даже самые знаменитые ученые, не могли догадаться, в чем дело. Что же оказалось? Засуха-то случилась не в Париже, а в той заморской стране, откуда эти цветы привезли, – на их родине. Сначала цветы погибли там... И так Чааре стало жалко себя (конечно, после цветов) – свет померк в глазах. Неужели могла бы провести всю-всю жизнь и даже не задуматься, где она родилась? Но ведь тогда бы не горевала? Как знать. Все равно сердце, не пережившее самое главное чувство, ныло бы, глухая безысходная тоска подкатывала бы к горлу, а она не догадывалась бы, отчего. Что может быть хуже?

Конечно, цветы ничем не могли помочь своим далеким сородичам. Им ничего не оставалось, как умереть с горя.

Но люди-то могут выручать из беды друг друга. Еще как могут! Только часто они не знают, что кому-то, если он не рядом, плохо. Не у всех сердце-вещун, как у бабушки Намылги. А у нее, Чаары, какое?

Пожалев себя, Чаара стала жалеть иных прочих людей, знакомых и незнакомых, кто со смехом и прибаутками смеялся на... районный центр, пыльный и душный, захлащенный всяким мусором поселок, и еще хвастают, гордятся,

что живут, мол, как все цивилизованные люди. Иные стыдятся, что родились не в городе, а в аласе. Ой, бедные...

Родное гнездо имеет даже крохотный птенчик, даже последний хроменький муравьишка.

Ее, Чаары, колыбель – эта вот речушка Джэнкир, уютная Кытыйя, те изумрудные поляны и рощи, дремучая эта тайга, горные те кряжи.

Разве может человек, родившийся в таком благодатном, щедром и светоносном краю, иметь ледяное черствое сердце, несносно-сварливый характер?

Разве человеку, возвращенному на хрустальной воде Джэнкира, взлелеянному на многоцветном ковре этих тучных долин, достигавшему взглядом вершин белоснежных великих гор, могут прийти в голову черные злые помыслы?

Ча-а-ра...

Пусть померещилось – не пугалась больше. Привыкла, что кто-то нежно окликает ее, не требуя ответа.

И в то же мгновение ей вдруг захотелось сделать для людей что-то доброе, хорошее и вечное. Что именно? Такое!.. такое... может быть, даже... умереть, но так, чтобы не совсем, а раствориться во всем сущем – небе, горах, травах, щебете птиц, – только бы знать наверное, что это (значит, и она в них) останется навсегда-навсегда.

То был ни с чем не сравнимый миг личного бессмертия – восторг любви к жизни, к свободе. Высшего страдания Чаара не переживала никогда раньше. Да и то – такое случилось

с ней в первый раз. Мысль – равноценна ли ее жизнь той великой милости, какой она пожелала? – не пришла. И не могла прийти: разум тут был ни при чем.

Счастливое чувство жертвенности, какое вдруг взволновало, потрясло существо Чаары, бурно заколыхало грудь... Она отдавала себя и просила-молила взамен лишь: «Не исчезай, рай земной! Не исчезай...»

Вспомнилось: она уже когда-то видела это все в мельчайших подробностях – во сне, наяву ли? Когда же такое было?

А ведь было...

В тот самый заветный и самый грустный год в жизни Чаары: она пошла в первый класс, а их семья навсегда оставила родные места.

Было же вот что: дедушка взял крохотную внучку за руку и повел к особо почитаемой издревле Кыыс-Хайа, что означает Девичья Гора.

К вершине Дархан поднялся с большим трудом. Чаара взлетела перышком. Разве олененок устает? Остановившись рядом с громадным, с хороший дом, обломком скалы, рухнувшей когда-то сверху, дед, преодолевая тяжелую одышку, сказал:

– Сыччыый<sup>12 1</sup>, я тут передохну, а ты иди и смотри. Может статься, тебе будет не суждено сюда уже вернуться. Старики у нас недаром говорят: «Девочке быть суженой в иное пле-

---

<sup>12 1</sup> Сыччыый (ласкательное) – голубушка, милая.

мя...»

– Куда идти? – недоумевающая, спросила внучка.

– Иди туда... – Дархан подтолкнул к самому краю карниза горы. – Смотри... Хорошенько смотри.

– А что смотреть, деда?

Старик неопределенно повел рукой кругом.

Поневоле заинтересованная, внучка осторожно, крадучись подошла к обрыву.

Сначала она, словно в поисках чего-то, посмотрела себе под ноги, потом обвела взглядом окрест, затем перевела бездумный взор в бездонно зияющую внизу пустоту, поймала глазами теряющуюся в струящемся мареве кромку широкого дола и... внезапно застыла с широко распахнутыми глазами, с полуоткрывшимся в немом крике ртом.

В этот миг как будто кто невидимый разбудил ее, сонную, сорвал с наполненных прежде тьмой глаз плотную повязку – и она неожиданно для себя прозрела! Перед ней была Сказка.

Стояла пора ранней осени. Вся матушка-земля, просвеченная струящимся золотым ливнем, была прозрачна, первозданна; и каждое деревце, каждый куст, каждая былинка святы: они стояли в солнечных нимбах...

Казалось, сейчас должно было случиться что-то необыкновенное. Нужно только запастись терпением и ждать. Вот-вот появится Нюргун Боотор Стремительный, вылетит из-за синих гор на мотыльково-белом коне...

Все было готово к чудесной встрече. Только бы не спугнуть. Очарованная девчушка затаила дыхание.

Теперь стало невмогуту. И тогда в бессловесно-мучительном изнеможении девочка простерла ручонки перед собой и с бешено колотящимся жаворонком в груди, словно стыдясь, что одна смеет любоваться этой сказочной невозможной красотой, обернулась с громким пронзительным, наконец-то прорвавшимся из сдавленного горла криком:

– Дедушка! Дедушка!

Дархан не спеша приближался к Чааре.

– Смотри!.. Ты только посмотри...

Хотя девчурка не умела вымолвить больше ни слова, мудрый старец все понял. И был несказанно рад, что у его внучки оказалась не косная, унылая душа – живая, добро отзывающаяся на красу земную и красу небесную, не пустое трусливое сердце – бесстрашное, кипящее горячей страстью.

Шепот прошелестел в самое ушко:

– Вижу. Вижу и люблюсь вот уже шестьдесят лет. И никак мне это не надоест покамест. Ты сама смотри... Не только глазами смотри, сыччый...

Не знала тогда Чаара, что это почти неуследимое видение запало уже на самое донышко детской памяти. Не потому ли, стоило ей услышать олонхо<sup>13</sup>, мгновенно превращалась в ту крошечную девочку с трепещущим жаворонком в груди? Вот и теперь так. И могучая богатырская Природа, вос-

---

<sup>13 1</sup> Олонхо – якутский героический эпос.

певаемая ветхозаветным певцом, обязательно была похожа на Джэнкир. Но это-то и не удивляло: где еще могло родиться такое величественное творение, как не здесь – земле дивных грез наяву?

Долог взор, каким Чаара задумчиво и подробно обводила гряды за грядой неохватных гор, светлоструйную речку, извивающуюся внизу серебристою опояскою, тихо млеющие под нестерпимо ярким солнцем аласы...

Только что ликование – грусть откуда? Точно в последний раз видела.

То ли приветствуя, то ли прощаясь навечно, помахала рукой всему.

Шевельнулись губы:

– Дедушка...

Как же так, неужели забыла о нем, заигравшись, отдавшись своей лишь радости? Он же там один-одинешенек, беденький... Ох какой же он у нее стал старенький...

И тотчас же обернулась олененком-тугутом в сандалиях-туфельках, расшитых голубыми цветами...

– Де-ду-шка-а-а!..

Не заметила, как очутилась у подножия Буор Хайя, – на крыльях, что ли, спланировала? Правду говорят, подниматься в гору куда тяжелей. Но думать о том особенно некогда. Через порожистую речонку, строптиво бурунившуюся ба-

рашками на перекатах, перебралась по легкому мостику из жердей, схваченных тальниковым перевяслом, и меж куп густых развесистых ив и стаяк серебристых тополей побежала вдоль берега на восток.

– Дедушка-а-а!

Откуда ни возьмись – навстречу Хопто. Радостно взлаивая и виляя хвостом, принялся прыгать Чааре на грудь, пытаясь лизнуть в лицо.

– Я тут. Иди сюда!

Запыхавшаяся Чаара остановилась на мгновение за кустами – надо сначала успокоить сердце, разрывающееся от любви и жалости к деду, которые снова вдруг прихлынули, подступили к самому горлу. «Дедушка...» В эту минуту, когда она влажно смотрела (или, может быть, подсматривала?) на него, раздвинув мешавшие ей ветки, он показался ей еще меньше, чем даже утром, когда каждый отправился по своим делам, – почти мальчик. Старенький седой мальчик... Одет он был в простую без воротника рубаху из белой бязи, в стиранные-перестиранные, потерявшие первоначальный цвет триковые штаны до колен. А торчащие цыплячьи лопатки и то особенно, что он был босой, едва не заставило Чаару заплакать. «Дедушка-а-а... миленький...»

Если бы кто-нибудь в эту минуту спросил Чаару, чего она хочет больше всего на свете, ответила бы не задумываясь: всегда-всегда заботиться о дедушке, быть рядом с ним. Да, собственно, и ответила – нечаянные слезы, которые она

сдерживала из всех сил, мочили щеки. Слова здесь – лишние.

И разве это не истинно: нет ничего важнее и не может быть в жизни человеческой? Ни в ее, ни в чьей-нибудь другой.

Эх, рассуждать не перерассуждать на эту тему! Да сколько и сказано много мудрого. Услышано ль? Обидно ж, многие люди, даже по натуре не злые вроде бы, почему-то вовсе о том и не думают – просто в голову не приходит. Эх...

Чаара наконец справилась с сердцем, упростила его не биться суматошно и, осушив глаза, вышла-выпорхнула из-за своего укрытия.

Дархан хлопотливо, как гном, только что без смешного красного колпачка с кисточкой, возился-копошился в тени деревьев на ровной, довольно просторной лужайке.

Как хорошо, что сейчас дедушка показался Чааре «гномом» – это утешило ее, на время примирило с чем-то неизбежным, неотвратимым, чему нельзя противостоять и с чем нельзя спорить, а можно только плакать. Такое чувство у иных мелькает иногда, когда глядят на заход солнца – неужели оно может не взойти завтра? Но солнце не зависит от человека. Ему нет дела до наших переживаний: ни до страха, ни до благодарности.

Чаара, уже совсем превратившись в обычную девочку, прошептала:

– Дедушка...

Неизъяснимый ужас, испытанный ею только что, отлетел. Перед нею был ее, самый настоящий, дедушка. И это она подарила ему бессмертие, приобщив к сказочному лесному народу. Угадать, что там он будет своим среди своих, – ей ничего не стоило. Так получилось само собой.

Завидев внуку, Дархан приподнял навстречу подбородок с редким пучком седых волос и обнажил в приветливой улыбке редкие осколки изъеденных старых зубов:

– Голубушка, уже прибежала? – Из-под приставленных ко лбу козырьком ладоней приметчиво глянул на солнце. – Времени-то вон сколько ушло. Я хвастался, что угощу свежей рыбой, а сам-то и вершу еще не проверял.

– Мне не к спеху, дедусь. Чем ты занят?

– Разве не видишь, развожу дымокур для своих подопечных. Им двух-то не хватает, вот и устраивают они тут целые сражения – пыль столбом да рога трещат.

Словно в подтверждение этих слов за спиной раздался оглушительный гром. Не небесный – звук шел не сверху. Точно скалы столкнулись. Два бычка, пыхтя и сшибаясь лбами, начали натужливо теснить друг дружку. Свежий дерн так и рвался под пружинящими ногами. Вдруг один оступился в глубокой выбоине, осунулся, потерял равновесие, и в этот момент противник ударил его рожками в бок.

– Ой-ой! – испуганно вскрикнув, Чаара схватила деда за рукав.

– А ну, перестаньте!.. Не бойся, ничего им не будет, –

успокоил внучку Дархан. – Они резвятся, играют, тоже ведь еще дети...

И верно, через некоторое время драчуны как ни в чем не бывало встали рядышком, шея в шею, принялись миролюбиво и деловито пережевывать жвачку.

Дедушка начал втыкать вокруг курящегося дымокура в землю тонкие длинные колья, соединяя их вершинами наподобие сплетаемой новой верши.

– А это зачем?

– Загораживаю, чтобы эти бестолковые шалуны ненароком не наступили ногой в костер. Потерпи, милая, я сейчас, кончу быстро.

Затем Дархан прорыл лопатой вокруг костра неглубокую канавку.

– Идите сюда. Я же соорудил для вас новый дымокур! – крикнул бычкам, кучно столпившимся вокруг прежних дымокуров. – Стесняются, что ли, бесенята... Голубка, иди-ка, шугани их сюда, несмысленнейшей!

Покончив с дымокурами, дед с внучкой подошли к шалашу на опушке леса, сооруженному из лапника и сена в аккурат между двух лиственниц.

– Внушенька, ты бы сбегала к озеру за водой. А я пока схожу к речке проверить вершу.

– Дедушка, я тоже хочу с тобой.

– Ладно, идем вместе. – Сделав несколько шагов от дымокуров, Дархан обратился к подскочившему Хопто – А ты

оставайся. Оставайся тут, Хопто. Понаблюдай за озорниками.

Хопто – вот уж льстец так льстец! – умоляюще закрутил хвостом, жалобно заскулил. Зря старался: неумолимый Дархан так строго взглянул на него, что огромный пес, виновато опустив голову, счел за благо поплестись восвояси.

Всю дорогу шли молча. Дедушка нес за плечами берестяной тымтай<sup>14</sup> для рыбы, подцепив его крючковой палкой за витую волосяную веревку.

Вершу Дархан поставил в небольшом, со стоячей водой заливчике, заросшем густой зеленой травой и накрытом глухой шевелящейся тенью от вершин деревьев, сквозь которые не мог пробиться ни один солнечный луч.

Словно только их дожидалось, на прищельцев жадно и яростно накинлось остроклювое облако.

– А ну-ка возьми, внученька! Иначе не справиться с этими кровожадными разбойниками, – заметив; что та из последних силенок отбивается от набросившегося комарья, Дархан протянул свою махалку из конского хвоста. Его самого комары почему-то не трогали.

– Ой! – Чаара звонко шлепнула себя ладошкой по голой ноге – прожгло точно каленой иглой.

– Голубушка, будь потише... – Дархан привлек к себе

---

<sup>14 1</sup> Тымтай – овальный сосуд из бересты.

внучку и ткнул впереди себя корявым пальцем с неправдоподобно толстым ногтем. – Посмотри-ка вон туда...

– Что там?

– Вон... вон...

– Ничего не вижу, деда. Вода...

– Ты смотри не только поверху, старайся взглядеться и в глубину... Ну вот, хорошенько приглядишься-ка вон туда, куда направлен мой палец. Вот так, вот так... Видишь, там рыбки плавают... Подплывают к горловине верши и уходят назад. Знаешь, почему? Их беспокоят наши тени. Видишь теперь?

Чаара, щуря глаза до боли, стала пристально вглядываться в темно-зеленую воду и – вдруг, совершенно неожиданно для себя – различила стайку небольших рыб с темноватыми сверху спинами. Они осторожно подходили к самой верше, но в последний момент, как по команде, разлетались прочь врассыпную.

– Кто это, дедунь?

– Хариусы. Вот самый крупный из их породы – так называемый «гривастый». Я тебе приготовлю его жаренного в зеленом листе. Ела когда-либо подобное?

– Ннет...

– Вот и попробуешь, внученька. А пока давай на время отойдем.

Они отошли чуть в сторонку, притаились в тени за деревьями. Вытягивая шею, Чаара пыталась что-либо разглядеть отсюда, но кроме черного, поблескивающего зеркала воды,

на котором мельтешили и порхали бабочками блики, ничего увидеть не удавалось. Дедушка сидел молча и спокойно, привычно выставив вперед подбородок. Казалось, он дремал.

– Подошел-таки...

– А ты откуда знаешь, дедушка? – Чаара не то чтобы обиделась, но немного расстроиться было все-таки отчего: дедушка с полужакрытыми глазами видит, а она...

– Приглядишься повнимательней, как там вода рябит...

Ну это-то она и сама видела: поверхность воды вблизи верши едва заметно морщилась, только не знала, что это значит.

– Есть! – воскликнул Дархан и хлопнул себя по бедрам. Он придержал за руку вскочившую было внучку. – Не спеши. Пусть он там побьется, убавит прыти.

Чаара принялась отчаянно стегать себя махалкой.

– Дедушка, комары!

– Ну, тогда поспешим.

Забредя в воду по колено, Дархан снял с верши два деревянных гнета, разбросав их по обе стороны, зацепил деревянным крючком снасть за можжевельный обруч и неторопливо вытянул на более мелкое место. Едва он осторожно приподнял нижний обруч верши, вода кругом сильно забурлила. Осторожно сняв головки верши зажим, Дархан запустил внутрь руку, выудил несколько крупных хариусов и выбросил их подальше на берег.

– Нам троим, с бабушкой, хватит?

– Не зна-аю.

– Пожалуй, хватит, – словно сомневаясь, несколько раз подряд заглянув в вершу, наконец произнес Дархан и, не торопясь, вывалил остальную добычу в воду.

– Зачем, дедушка?! – только и успела Чаара воскликнуть. Дархан не удостоил внучку ответом, прищемил головки верши зажимом, вдвинул снасть на старое место, придавил сверху гнетами и не спеша подошел к Чааре, по-прежнему приплясывающей и отбивающейся опахалом от полюбившего ее комарья.

– Недовольна, что рыбы мало оставил?

– Нет, что ты...

– Зачем тогда вскрикнула даже, когда я выпустил оставшихся рыб?

– Это так, невзначай.

– Это как «невзначай»? Ты смотри, какая уж вымахала, а?

– А разве Вылавливают для того, чтобы тут же выбрасывать обратно?

– Я не выбрасываю, голубушка. Я отпускаю их на волю – пусть нагуливают тело, пусть растут. Негоже нам без конца зерить, уповая, что в бесчисленных реках и озерах златочешуйчатых косяков нам никогда не перечерпать. Надо брать в меру – лишь то, чтобы наесться разок. Надо понимать, нынешняя молодежь через небольшое время расплодится в десятков, сотню, тысячу крупных рыбин... Нарви-ка мне, сыччый, вон той зеленой отавы.

Дно берестяного тымтая устлали сочной душистой зеленью, бережно уложили туда сомлевших хариусов, сверху плотно закрыли тоже зеленью.

– Бабушка наша кормилица... – глядя вниз по течению, почтительно проговорил вслух Дархан и стал, осторожно дотягиваясь крючковой палкой, распрямлять травинки в воде, которые ему пришлось примять недавно, топчась возле верши. – Бабушка и посейчас водами сыта... Лето выдастся благодатным...

– Дедушка, вон какая еще стая! – Чаара показала пальцем на устремившуюся из глуби к берегу большую стаю рыб. – Видишь, сколько их?

– Вижу, вижу. Пусть их гуляют. Матушка-природа неистощима на выдумки, щедра для детей своих – не устает плодить в изобилии косяки многорунных рыбьих пород, разных четвероногих зверей – голосистых, клыкастых, рогатых, пушных, чтобы мог человек добыть себе пропитание, чтобы в лютый мороз не замерз нагим... Ну, пошли домой, внученька.

Дархан привычно закинул на плечи потяжелевший тымтай и благодарно склонил голову перед речкой.

Может быть, подражая дедушке, Чаара, не зная, к кому или к чему обращается, так же наклонила голову и, чего-то смутившись, прошептала еле слышно:

– Спасибо...

Шурша разноцветной галькою, шагали вдоль берега.

Вдруг Дархан остановился.

– Ты что, деда, устал?

– Нет, голубушка. Вон видишь, мой давний приятель дожидается.

На провисшей толстой ветви старой-престарой ивы Чаара не сразу заметила красногрудую птаху. Она (откуда дедушка знает, что это «он»?) смотрела на них выжидательно и в самом деле, похоже, о чем-то спрашивала на своем птичьем языке – громко чирикнула.

– Что, что ты сказал, приятель? – Кажется, лучше бы Дархан не переспрашивал.

«Приятель», явно обиженный на ставшего вдруг почему-то непонятливым старинного знакомого, который, главное, сам никогда не забывал останавливаться первым и поболтать с ним о том о сем, а сейчас бы и не заметил, не обрати он на себя внимания, сердито затараторил скороговоркой.

Дархан слушал с виноватым видом и, точно соглашаясь со справедливостью упрека, кивал головой.

Наконец «приятель», видно, сжалился и уже совсем мирно прочирикал-спросил о чем-то привычном.

– А-а, понял, тебя интересует, как я себя чувствую, такой немолодой? – с воодушевлением вступил в разговор Дархан. – Я-то ничего, а вот как у тебя дела? Все ли хорошо?

«Приятель» коротко чирикнул.

– Ну и прекрасно. В такую сочъ и зелень, в такую благодать уж вы постарайтесь в песенном красноречии, не ленитесь!

Славьте природу-мать! Ну пока, до завтра!

Повеселевшая птаха, водя за уходившими вертлявой головкой, все продолжала неумолчно щебетать.

Довольно долго прошагав по тропе, они снова остановились – тонкая гибкая ветка тальника, изогнувшись, провисла поперек пути.

– Посмотри-ка! Да ведь эта шельма никак забавляется – ни дать ни взять мальчик на качелях!

И действительно, вцепившись коготками в гибкий конец провисшей ветки, вверх-вниз беззаботно качалась и щебетала небольшая желтошея пичуга.

– Вот те на, на меня, старика, она и не глядит, желает поткровенничать только с тобой, – Дархан повернулся к Чааре. – Ну, говорите. У вас, молодых, найдется, чай, о чем поговорить. А ты не важничай.

– О чем она?

– Вроде бы спрашивает: как со школой?

– Окончила, окончила!

Синица испуганно снялась с ветки и улетела.

– Чего ты кричишь так истошно?!.. Она, чай, не из каменно-глухих...

Дархан пошел впереди и прибавил шагу.

Теряясь в догадках – шутил дед или вправду говорил всерьез, когда объяснялся с птицами и так строго пожурил ее, – Чаара покорно следовала за умолкшим стариком.

Вышли на опушку лесной поляны.

– Посмотри-ка, внученька!

Чаара, обрадованная (значит, он и не думал на нее сердиться), мигом очутилась рядом с дедушкой и устремила взор в дрожащую глубь чаши на другом краю поляны, всю пронизанную золотыми нитями, мигающими каплями звездочек.

– Ты смотри не через всю поляну, взглядишь под ноги, – Дархан ткнул рукой вниз. – И побольше, побольше смотри кругом. Видишь, как пышен и бел цвет голубики... Плодов и ягод нынче будет пропасть. Если удержишься, голубушка, подольше, обязательно навестим здешние места...

Вернувшись к шалашу, добыли воды, запалили костер, поставили кипятить чайник. Дархан, показывая и объясняя, как это делается, очищал и разделявал самого крупного из обещанных хариусов. Хопто сначала было заинтересовался, соизволил подойти, даже старательно обнюхать, затем с разочарованным и презрительным видом удалился подальше в тень ивы и блаженно растянулся, уткнув нос под хвост.

– Ишь, ты, – усмехнулся старик. – Недаром о. таких говорят: некий тойон каждый вечер к слуге своему приходит да ночует.

Разделав всю рыбу, Дархан как бы ненароком поднял взгляд вверх:

– А-а, вы уже, конечно, унюхали и сидите тут как тут, выкаркиваете себе положенную долю. Ладно, чуток подождите.

Я вас никак не обделю.

Только сейчас Чаара заметила, что ветки ближних деревьев сплошь обсижены воронами. Наклоняя головы, они молча следили за каждым движением дедушкиных рук.

– Даах!.. Даах!.. – Одна из ворон, видимо, молодых, не выдержав, слетела с ветки на землю близко от шалаша и принялась требовательно вышагивать рядом. – Даах!

– Не торопись, дружок! Не спеши опередить своих друзей, – урезонивающим голосом проворчал недовольный Дархан. – Уйми жадный пыл. Вон остальные сидят, дожидаются.

Ворона, словно пристыженная, взлетела обратно на прежний сук.

– Дедушка, чайник бежит!

– Пусть бежит, далеко не убежит, хай подымать не стоит. Чай заварили крепко – по-полевому.

– Подбрось в костер дров, – сказал дедушка. – Нужно, чтобы зола была горячей.

Пока Чаара возилась подле костра, Дархан набрал на лугу разных трав и листьев.

– Иди-ка сюда, внученька... Смотри да учись, вот как следует делать.

Выпотрошенную рыбу старик выполоскал в воде, начинил нутро какими-то травами, густо посолил и сверху плотно обернул слоем зеленых листьев. Выждав, когда пламя костра сойдет на нет, раздвинул кучу источающих нестерпимый жар угольев, на горячее обнажившееся лоно положил

зеленый сверток с рыбой и сверху опять присыпал золой и углями.

– Вот и вся недолга. Нам осталось одно: достать и съесть. – Дархан тщательно соскоблил ножом и собрал на куске бересты все остатки от разделанной рыбы. – Эти бедняжки явно изныли в столь долгом ожидании, наверно, промеж себя ругая меня ругают: мол, как медлителен и неповоротлив старик, еле шевелится. Внученька, разложи все это на срезе того пня, чтобы им было удобней полакомиться.

Не успела Чаара отойти от пня – тут как тут на царскую трапезу с жадными голодными криками ринулись вороны.

«А нам когда?... А нам когда?» – послышалось Чааре в безумолчном гомоне стаи дроздов, неотступно следующих за ней, перелетая с ветки на ветку. Она беспомощно развела пустыми руками, но преследователи не унимались.

– Дедушка, дрозды тоже требуют подношения!

– Э, пустое, они кормятся разными семенами, на такую пищу они не зарятся.

– А почему пристают ко мне?

Дархан задрезбезжал надтреснутым веселым смешком:

– Милая, ты им, наверное, так понравилась, что они не могут с тобой расстаться.

– Да неужели? – Чаара повернулась к дереву, на котором примостились галдящие дрозды, и, взявшись кончиками пальцев за край платья, сделала глубокий реверанс. – В таком случае гран мерси, кавалеры!

Наконец-то!

Дархан разворошил прутиком костер и достал из золы готовую рыбу. Покрытая золотистой хрустящей корочкой, она издавала острый, пряно дразнящий аромат, какого Чаара не слышала никогда и даже представить не могла, – слюнки так и потекли, так и побежали. Самый мясистый и сочный ломоть хариуса дед положил перед внучкой.

– Ну, внученька, все это давай съешь – это ведь тебе гостинец от бабушки Джэнкир.

Сам Дархан, намазав кусок хлеба маслом и положив на него кусочек рыбы, направился к костру. Что-то неслышно бормоча под нос, обошел кострище кругом и бережно опустил дары в самый жар тлеющих малиновых углей.

Чааре и до этого доводилось много раз видеть, как старые и даже почти молодые, как ее мама, люди приносят дань духу огня. «А что это означает, мама?» – «Люди делают, ну и я поступаю так же». – «Зачем слепо копировать то, что велит старый обычай?» – «Ладно, не умничай! Это не нами заведено, не нам и рушить! И хватит болтать об этом!» Больше Чаара не спрашивала, и так чуть не дошло до ссоры.

А еще кто-то смешное рассказал про старую Пелагею, прошлым летом уехавшую к сыну в Якутск. Сын с семьей живет там в каменном доме с центральным отоплением и газом. Как водится, по случаю приезда драгоценной матушки затеяли семейное торжество. Пелагея, напрасно прождав,

когда же сын или невестка приступят к исполнению древнего обычая, своей волей и разумом опрокинула рюмку водки над зажженной газовой плитой. . . Пожарных, правда, не вызывали – сами справились, а старушечка целую неделю икала, руки у нее, говорят, до сих пор ходуном ходят. Кажется, уже не так. Теперь «ученая» бабулька при неизбежных семейных празднествах – упорная женщина: фанатично блюдет заветы предков! – с виноватым видом опрокидывает рюмочку над батареей отопления, даже и холодной. Ритуал есть ритуал. . .

Вместо глаз у Чаары – чертики. Веселые, озорные.

– Дедушка, что ты сказал над костром?

– Э, да так, по привычке. . .

– Дедуля, ну скажи. . . Может, я тоже. . .

– Это стародавний обычай. . . Вы, молоденькие, называете их дремучими пережитками. Так, кажется, а? – с хитроватым прищуром глянул на внучку.

– Слова эти, получается, плохие?

– С чего взяла, что «плохие»?

– Значит, хорошие?

Дархан посидел молча, пристально уставившись в пламя костра.

– Известно, хорошие.

– Почему тогда скрываешь?

– А я разве скрываю?

– Ведь не говоришь же.

– Ну и настырная ты, право. . . Я, примерно, сказал вот

что: «Имеющий постель из горящих угольев, подушку – из мягкой золы, одеялом же – бегущее пламя, Дух, хозяин жаркого костра моего, сивая борода, седая голова, Хатан Тэмерия, священно-почитаемый господин дедушка, и впредь не обдели нас своей милостью и щедростью...»

– Дедушка, а твой Хатан Тэмерия действительно существует?

– Голубушка, ты, наверное, думаешь, что я, мол, трухлявый пень, выжил из ума? А я еще далеко до твоего появления на свет хорошо понял, что ни бога, ни дьявола нету.

– Бога нет – ладно. Дьявола нет – хорошо. А как Тэмерия? Он-то есть?

– Откуда ему взяться...

– А зачем тогда?.. – Осеклась. Что-то помешало ей произнести «молиться».

На этот раз Дархан молчал дольше обычного. Щуря глаза, тоненькой тальниковой веточкой вылавливал из кружки невесть откуда натрусившийся травяной сор. Мягкая улыбка, освещавшая его дочерна загорелое худенькое продолговатое лицо, медленно истаивала, гасла. Реденькие сивые брови сдвинулись к переносью. Выловив последнюю соринку, он молча принялся прихлебывать остывший чай.

Чаара, каясь, уж не разобидела ли деда, – а виноваты во всем чертики, подзуживающие ее на глупые и зловердные вопросы, – сидела понуро и подвернувшимся сучком царапала землю.

– Подобных вопросов другим людям никогда не задавай, – проговорил наконец Дархан, собираясь выплеснуть из кружки опитки, и остановился, заметив, что внучка опустила голову. – Что с тобой, милая? У тебя вид ребенка, пролившего молоко. Я же тебя не ругаю. Правильно делаешь, что у меня все выпытываешь. У кого же спрашивать, голубушка, если не у меня? Ну, ладно, подними головку. Ну-ну...

Чаара подняла на деда виноватые глаза.

– А теперь улыбнись.

Чаара послушно улыбнулась.

– Ну вот и хорошо. По разным пустякам не надо вешать носа, сычийый... «Если Тэмерия не существует, то зачем ему творить молитву, делать подношения?» – спрашиваешь. Вопрос правильный. Но дело в том, что я в действительности творю молитву не именно Духу-Хозяину огня – ведь я в существовании разных там духов и прочего крепко сомневаюсь. Я возношу благодарение всей матушке-земле, вынянчившей нас на зеленой груди своей, вспоившей нас чистейшим воздухом своим, кормящей и одевающей нас от любви своей. А Тэмерия – это выговаривается просто по привычке. Возношу просьбу, чтобы и впредь был так же щедр и добр, не обделил нас ни птицей быстрокрылой, ни рыбой златочешуйчатой. Понимать добро, уметь быть благодарным – это хороший и мудрый обычай. Человек, потерявший способность понимать добро, перестает быть человеком, теряет человеческий лик. Хороший человек за добро должен отпла-

тить тройным добром. Мы, племя двуногих, носящих лицо спереди, свою родную землю, на которой впервые увидели солнечный свет, должны хранить и беречь как зеницу ока. Что еще найдется в этом Срединном мире, кроме матери-природы, которая испокон веков, со дня сотворения мира, во имя всего живого, начиная от муравья и кончая самым человеком, непрерывно и неоплатно творит добро и благо? Вот именно поэтому, голубушка, никогда не косись с осуждением на того, кто будет творить подношение огню.

Дархан умолк. Давно уже отвык говорить так много сразу и теперь, кажется, смущенный долгословием, отвел взгляд на костер, почти невидимый в сиянии солнечного света. Только легкий треск и хрумканье да почавкивание огня, сладострастно пожирающего свою пищу, раздавались в наступившей тишине.

Впервые ли слышала Чаара такие слова? Да и в словах ли дело? В чем же? Кто и как их говорит. И когда. Теперь и здесь, перед лицом неумолимой вечности, обычные слова звучали совсем по-другому.

– Я поняла, дедушка... – прошептала Чаара.

– Ешь, милая, ешь...

Рядом пировали вороны.

И все-таки не Чаара должна была оказаться здесь – Мичил, внук Дархана. Он и в гости-то к дочке поехал с задумкой забрать с собой Мичила. Рассудил, что Чааре лучше остаться возле матери; к тому же, если поедет учиться дальше, ей

предстоит готовиться к экзаменам. Но расчеты его не оправдались. На приглашение дедушки парень вытаращил изумленные глаза:

– А зачем я туда поеду?

Дед, совершенно не ждавший подобного ответа от обожаемого внука, опешил:

– Как зачем? Погостить, посмотреть...

Чего и вовсе не ожидал – пренебрежения, просквозившего в усмешке Мичила:

– Едва ли, дед, у тебя есть что-нибудь достойное, что могло бы удивить... Гор, речек, долин – везде предостаточно!

Пораженный в самое сердце, не находя достойных слов в ответ, Дархан молча поник головою и, оскорбленный в лучших своих побуждениях, беспомощно оглаживал вздувшиеся пузырями штаны на коленях.

Заметив убитый вид «допотопного дедуни» и, видимо, сжалившись над «ископаемым предком», Мичил снизошел до объяснения в примирительном тоне:

– Понимаешь, дед, во время летних каникул я буду вкалывать в гараже. Мечтаю стать шофером! Вот если бы у тебя был личный вертолет, то можно бы смотаться на пару-тройку деньков... – хохотнул. – А так, сам понимаешь, дедунь. Ну я пошел. Чао! Ариведерчи!

Дархан, сам не свой, уязвленный и униженный, сначала не мог ничего соображать, потерял дар речи – внук поверг его в немоту. Горькие размышления посетили его позже, ко-

гда сидеть одному в пустой гулкой квартире, глаза на грязную, без единого живого деревца, улицу стало уже невозможно. Хоть вой. «Ему бы, видишь ли, вертолет!.. Носясь по небу, кроме облаков, что он увидит? В лучшем случае – верхушки деревьев, летающие льды на горах. Немного знают и видят шоферы, раскатывающие на быстроходных машинах по ухоженным дорогам. Чтобы узнать и полюбить землю, надо исходить ее всю пешком, вдоль и поперек, нарастить на подошвах мозоли... Ишь ты, ему вертолет подавай!»

Наверное, целую вечность думал так Дархан. То молча, то принимаясь разговаривать сам с собою. Но кому нужны были его мысли? Мичил, тот явно не нуждался – чихал он на них.

Неизвестно, чем бы разрешилось мучительное томление Дархана – какой неизлечимой, неизвестной медицине душевной хворью, не появившись с радостным смехом Чаара – настоящий лесной колокольчик! – и не повисни на шее пригорюнившегося «дедули». Дархан ожил.

Правда, никто – ни дочка, ни зять, а меньше всего сам Дархан – ни сном ни духом не подозревал, что впереди их ожидает гром и молния. До самого последнего мгновения не знала и Чаара. Ей-то и предстояло стать громовержницей.

– Раз Мичил не хочет, с бабушкой на Джэнкир поеду я!

Гром грянул.

Молния не заставила себя ждать.

– Ни за что! А кто, хотела бы знать, будет за тебя гото-

виться в институт?

Ну и все такое прочее в этом роде.

Образумить строптивую дочь ничем не удавалось: ни гневом, ни мольбами, ни посулами.

Дархан – кур, попавший в ошип, – ощущал себя крайне неловко. Чего-чего, а послужить причиной бурного скандала никак не ожидал. Да и вообще не знал, что это такое – не умел. Случалось, особенно в бывшей когда-то молодости, ссорились с Намылгой, но, как говорится, потехи ради – до настоящей свары не доходило. Тут же он чуть не сгорел со стыда и бессилия, когда распалившаяся дочка грубо отозвалась о выживших из ума стариках, сбивающих неразумных детей с толку. Очень даже просто мог принять это высказывание на свой счет.

Короче, Дархан жестоко страдал. Но, странно, ему и нравилась непреклонность внучки, которую он, все эти дни любясь мягкостью ее нрава и милыми повадками, считал неспособной на какое-либо непослушание. Тем паче на упрямство. «А что, внучка удалась в меня!»

Последнюю точку в споре поставил Дархан.

– Ты не шуми, дочка, пусть посетит родные места. Если пойдет учиться дальше, бог весть, в кои веки вернется. Тогда мы, старые, кто знает, будем ли в живых? – только и молвил печально.

И тогда мать заплакала. Чаара никогда не видела, как плачет ее мама. Но и не видя, не могла представить, что так –

навзрыд; упала головой на грудь бабушки, а он гладил ее, как ребенка, по спине и, раскачиваясь, что-то шептал с за-  
блестевшими вдруг и сузившимися в ниточку глазами...

– Посмотри-ка, деда, вот... – обескураженная Чаара показала пальцем на кучу рыбьих костей перед собой. Ее самую поразило, что от огромного куска, который она, казалось, не съест и за весь день, как-то незаметно ничего не осталось.

– Вот это по-нашенски! – возликовал Дархан, не сожалея, что внучка прервала его грустные воспоминания.

Вороны тоже отпировали и без крика улетели. Срез пня был чист и блестел – ни косточки. Точно свежеспиленный.

– Дедушка, угадай-ка: где я сегодня была?

– Самое большое – это для бабушки сходила за коровами, – Дархан принимает равнодушный вид.

Чаара, вернувшись откуда-нибудь, каждый раз велит деду угадать, где была. Всякий день она открывает для себя все новое и новое и, восхищенная, рассказывает об этом взахлеб, чем доставляет старику неизъяснимое наслаждение и великую радость.

– Опять не угадал! Я поднималась на Буор-Хайа!

– Вот те на! И что там делала?

– Смотрела...

– На что?

– А на все: поляны, аласы, горы, речку, нашу избушку, Эриэнчик...

– И как они тебе показались? – Конечно, Дархан не имел

в виду их дом и корову.

Не в силах выразить своего чувства, Чаара зажмурила глаза, покачала головой, цвыкнула губами. Дархан так весь и засиял.

– Дедуля, ты знаешь, чего я хочу? – полушепотом спросила Чаара. – Мою самую заветную мечту?

– Как же, знаю, – Дархан ответил так же, вполголоса. – Ты мечтаешь полюбить самого-самого хорошего парня.

– Нет, нет! – вспыхнула Чаара маково. – Ты не смейся, я спрашиваю всерьез.

– И я говорю вполне серьезно. Над такими вещами не смеются. Человек приходит в этот солнечный мир для того, чтобы создать семью, родить детей и ждать внуков. Таков закон природы.

– Я другое имела в виду, – не поднимая глаз, пробормотала Чаара, смущенная.

– Что именно, скажи?

– Дедушка, – Чаара робко подняла на Дархана точно вдруг омытые росой очи. – Мне хотелось бы всегда-всегда жить тут, на Джэнкире. Ведь это моя родина...

– Лучше ничего не скажешь, голубушка. Дай-ка сюда свою головку, приложусь. – Дархан нюхнул в самое темя склонившейся Чаары. – Спасибо, птенчик, за великодушное сердце твое... Если желаешь, ты здесь и правда можешь поселиться навсегда. Может, ты и слышала: неподалеку отсюда, на Харгы и дальше, на Туруялахе, обнаружено богатое золото. Лю-

ди из экспедиций давно уже торят туда дорогу. Работали они там и нынче весной, от шума и грохота разных машин земля дрожала... Недавно, будучи в поселке, я имел разговор с Титом Черкановым, секретарем парткома нашего совхоза. Он нарасказал мне вещей, схожих только с олонхо. Если будет доказано наличие большого золота, на Джэнкире откроют прииск. Наплывет уйма техники, прорва людей. С помощью прииска наш совхоз, по словам Тита, перемелет застарелые кочкарники, превратит их в покосные луга. И вот тогда здесь обоснуется ферма рогатого скота, заведем многочисленные табуны – одним словом, наш Джэнкир превратится в одно из крупных отделений совхоза. Заимеет собственную школу, откроет больницу, заработает клуб, И вот, голубушка, ты сюда приедешь учительницей или доктором с высшим образованием. Ясное дело, с супругом. И заживете себе на родимой стороне.

– Неужели так все и будет взаправду, деда?

– Конечно же, взаправду. Тит небылицы плести не станет.

– Иэхэйбиин<sup>15</sup>!

От избытка невыразимых чувств, вспорхнув белой бабочкой, внучка повисла на шее деда. «Дедушка!..» – вскрикнуло сердце и плеснулось в груди волной. Теперь ей было жалко всех, у кого нет «такого, такого...» – слово не находилось. Но вот вдруг очнулось, пришло: «Самого лучшего в мире дедушки!» И снова стало немножко стыдно и неловко, как в

---

<sup>15</sup> 1 Иэхэйбиин – возглас радостного восхищения.

тот миг, когда одна с вершины Буор-Хайа любовалась красотой земли, что он только ее дедушка. За что ей выпало такое счастье? Справедливо ли это? Никто не мог бы ответить на такой странный, несуразный вопрос. Впрочем, он и не возник явно – промельк, словно и не был.

Дархан спрятал-утопил лицо в текучих горячих волосах Чаары. Святой, блаженный запах детства! Как он, оказывается, стосковался по нему, истомился, извелся в беспросветной безысходной печали, причина которой стала понятна только сейчас. Иссиня-черные волосы внучки пахли медом, солнцем и, казалось, навсегда забытым невозможным счастьем. «Чаара – Дитя Благоуханное...»

И вот бабочкой же взлетела на пень.

– Как прекрасна жизнь!

Не слова – выдох лишь, колебание воздуха. Или то душа вымазала заветное? Преждевременное – не по возрасту? Ох, кто знает, сколько он уже существует на этом свете? Для родителей мы до седых волос маленькие да глупые. А для природы, общей нашей матери, – так ли? Перед ней все равны, и ребенок мудр. Иной и мудрее иных долгожителей.

Ни к кому не обращалась Чаара в этот миг, но Дархан услышал – откликнулся: вздохнул глубоко-глубоко от переполненного сердца. Иначе б не выдержало. Произнес в свою очередь:

– Если Бог-Творец и существует, то вот он в собственном подлинном величии – это Мать-Природа, родная наша Зем-

ля-Кормилица.

Ничего не добавил более – ни к чему.

Древний дедушка и юная внучка, тесно обнявшись за плечи, неотрывно и заворуженно глядели на близкий и далекий, горящий радугой горизонт.

## Глава 3

Усмехнулся:

«— Давным-давно, аж в тридцать восьмом году, работал я на Алдане главным инженером шахты. Однажды как снег на голову нагрянуло к нам высокое начальство – агитировать, стало быть, чтобы мы приняли обязательство удвоить план. Ну, «агитировать» – так говорится. Сами понимаете, что я имею в виду... Пошли, само собой, митинг за митингом, совещание за совещанием – в общем, все как по писаному. Директор шахты вдруг вошел в раж. Да еще какой! На глазах преобразился человек: глаза сверкают! Слюной брызжет! Рубит ладонью воздух: «Не два! Два с половиной! Нет, три плановых задания дадим! Если родной отец товарищ Сталин прикажет, то...» Тут его, сердешного, слава богу, заглушили аплодисментами, диким ревом – неизвестно, до чего до-токовался бы...

– Ну, а вы что скажете, товарищ Бястинов? – оборотилось ко мне со сладенькою улыбочкою на устах приезжее начальство. – Только что «дражайшим» или «любезнейшим» не величают – уверены: то и скажу, чего ждут. Такое меня тут зло взяло: за болванов нас, что ли, держат? Для чего устроили это клоунское представление? Сам не пойму, что оно вышло, только бухнул:

– Блеф это все! Блеф!

У начальства физиономии наперекосяк и пополам: губы еще в улыбке корчатся, а глаза уже на лбу крутятся. И ужас в них. Меня же понесло по бочкам. Не просто высказываю свое личное мнение, а на цифрах доказываю. И ребенку, мол, ясно, что увеличение плана – вещь абсолютно невозможная. Немыслимая!

Никак в моей дубовой башке не укладывается, как можно давать заведомо фальшивые обещания, нагло обманывать самого товарища Сталина? Верил, верил я в непогрешимость и гений «отца народов»!

Наконец начальство стало помаленьку очухиваться, приходиться в себя. Лица у всех зачугунели. Брови нахмурены. Глаза на место встали. Мне бы сбавить обороты – не тут-то было. Слова помимо воли из меня так и сыплются. Если бы просто слова – раскаленные уголья.

– Вы же в душе и сами не верите! – режу напропалую правду-матку. Чувствовал ли себя героем? Может, и так.

До сих пор еще помалкивали – точно змею каждый проглотил. Но только это сказал, что тут началось:

– Провокатор!

– Вредитель!

– Саботажник!

И не так приезжее начальство беснуется – «свои». Быстренько собрали бюро партячейки – билет, само собой, на стол. «Иди гуляй, решим, что дальше с тобой делать!» Все свершилось в мгновение ока. Еще хорохорюсь, а чувство–

словно обухом по затылку хватили.

Как в бреду приплелся в общагу, валяюсь ночью в пустой комнате без сна и мучаюсь в думах: «Как это можно в наше-то время попасть в такую передрагу за чистую правду?» Уже за полночь в глухой темноте стук в окно. Встал я.

– Выйди, поговорим, – шепот директора. – Кстати, мы с ним давние корешки были.

Вышел. Он молча пошел смутной тенью в сторону леса. Я за ним. Остановились поодаль домов в сосняке.

– Ты что наивного дурака из себя разыгрываешь? – рывкает он на меня.

– Еще неизвестно, кто из нас дурнее, – отвечаю как можно спокойнее.

– Завтра же откажись от своих слов! Покайся, что ошибся. Поклянись чем хочешь, что отдашь все силы без остатка ради выполнения плана! Тогда, может, еще спасешься...

– От чего я должен отказаться? От правды? В каких таких ошибках я должен покаяться? В том ли, что не стал бессовестно лгать? Нет! Не-ет...

– Кретин! Идиот! Как ты не поймешь элементарных вещей?!

– Чего ты меня вразумляешь? Ну, ответь по совести: веришь ли ты сам в то, о чем так трубишь?

– Пусть в душе не верю, но... это необходимо! Надо так! Надо! Пойми ты это, дуралей! – Чуть не плачет, на колени бухнуться готов.

Мне шлея – под хвост:

– Не понимаю и не пойму! Не хочу понимать!

– Петя, дорогой мой, я тебя прошу, даже умоляю... – сказал вдруг тихо директор, только что оравший на меня. – Его голос до сих пор стоит у меня в ушах, – Ты знаешь, чем все это может обернуться? Ты играешь с огнем. Потом, когда раскаешься, поздно будет...

– Не раскаюсь!

– В таком случае, – голос его снова стал жестким, – я тебя больше не знаю.

– Я тоже не желаю тебя знать! – ответил я в гневе бывшему другу, резко повернулся и пошел к себе домой. И все-таки я не мог не обернуться – в крошечной темноте между деревьев я еще раз увидел огонек его папиросы. Он ждал: надеялся – передумаю... С тех пор мы больше не встречались.

Через три дня меня доставили в райцентр уже с провожаемым; и другие люди поговорили со мной по-другому. Мое «упрямство» обошлось двадцатью годами в местах не столь отдаленных... И после, попадая даже в нестерпимые для живой души испытания, я так и не раскаялся в своем «дурацком» поведении...

Позже узнал, что шахта не дала не только обещанных двух с половиной заданий, но не справилась и с обычным – одинарным. Директор схлопотал небольшой выговор и продолжал себе спокойно работать по-прежнему. Бястинов промолчал, потом исподлобья, остро взглянул Кэремясову в гла-

за: «Я же... я не каюсь и теперь...»

«Да-а, печальная история!..» Знать-то знал, что не миновал Бястинов ГУЛАГа, подробности, как да почему, выплыли, так сказать, впервые.

Анализируя позже, правильно ли реагировал на рассказ, Кэремясов пришел к заключению: правильно! И остался удовлетворен. Кому нужны его «ахи» и «охи»? Сентиментально! Пошло! Типичная обывательщина! Смирять сердце: не доверять первому порыву – урок, который вытвердил накрепко. Тем более нельзя идти на поводу у эмоций, не учитывать суровую непреложную диалектику истории. Да, были отдельные ошибки. Были! И помрачнел. И зубы сцепились. Жилка дернулась на виске. Почти уверен: будь он, Кэремясов, в то время совершеннолетним, – за милую душу загремел бы за колючую проволоку! Виноват, что ли, что тогда пешком под стол ходил? А получается вроде так, ежели судить потому, как с молчаливым упреком и снисходительно взирает на него тот же Бястинов. По какому праву? По праву невинной жертвы? Мученика? А не... – и страшная мысль вдруг ожгла, пошатнула: не спекулируют ли некоторые на своей биографии? Не жаждут ли крови? Эдак черт знает до чего можно дойти! Чувствовал: шаг еще – и свихнешься. Думать дальше – и кошмар. Что-то в его мыслях было и подловатое. Что? И не мог остановиться. Неужели в нем заговорил гонор? То, что, рассказывая свою историю, Бястинов целил прямо в него, намекал на сходство с давним «районным на-

чальством» – очевидно. Явно видел в нем примитивного карьериста. Это и взъярило? Эх, Мэндэ! Слаб человек. Слаб. Чуть уязвил тебя кто – враг! Ну конечно! Ты-то непогрешим. Ты-то... Эх, Мэндэ!

«Да-а, история...» Не о бястиновской думал – о другой. Еще и не бывшей – будущей. Свинцовая тяжесть придавила. Сердце ли только? И не тело ныло. Одно тело бы – ерунда. Эх...

Уверен-таки был: донести голову до подушки – и там из пушек пали. Черта с два! Хотя и измочалился в лоск, по-ка-торжному, – спасительный сон, на который Кэремясов рассчитывал, не шел. Ни в какую.

В чугунной голове – сумятица, хаос, мешанина резких, хриплых голосов. Не сразу и разберешь, кто говорит. Уж в какой раз прокручивает события последних четырех дней – все без толку. Что она дала, поездка на прииски? А что, собственно, могла дать?

Прав, в сущности, Спартак Каратаев, секретарь парткома прииска Табалаах, когда рубанул напрямик:

– Не думайте, что приехали к аборигенам, впервые в жизни услышавшим означении государственного плана. Каждый из коммунистов, и даже каждый беспартийный работяга, прекрасно это понимает и, не жалея себя, будет вкалывать для выполнения плана. Вот в этом уж будьте уверены!

Тут бы и кончить – где там! Амбиция, что ли, подвела Кэремясова? Да и тон Каратаев выбрал не просто резкий –

хамский. Ну и разыграло:

– Не сомневаюсь, что ваш прииск с планом справится. Но теперь этого мало! Надо в интересах комбината в целом значительно его превысить! Чваниться, что выполнили лишь собственный план, не стоит...

Не успел сказать – понял: зря! Ни за что ни про что оскорбил людей.

Кудрявцев, директор прииска, до тех пор не вмешивавшийся в перепалку двух секретарей, вдруг взбеленился:

– Как это «чваниться»? Мы разве «чванимся»? – с неожиданной для его громоздкой комплекции прытью вскочил с кресла. – Мы гордимся, что справились с планом! Сами видели, каковы дела на шахтах и карьерах. Люди работают, как каторжники! Что люди – металл не выдерживает усталости, машины ломаются! И все это для вас – мало? «План надо перевыполнить – и значительно!» А где вы видите возможности для этого? Если видите – садитесь на мое место! Руководите! Перевыполняйте план на сколько хотите... А меня увольте...

Чего ж не понять крик души? Он и понимает. А кто поймет, каково ему? Никто! Можно и не надеяться. Такая жаль к себе охватила в тот же миг, что... И гордость тут же: должен ведь кто-то взвалить на свои плечи непомерную тяжесть ответственности? Это выпало на долю ему, Кэремясову! «Уф!» Откинул тяжелое одеяло. Духотища! Дышать нечем. Неужели так парит перед грозой? Переворачиваясь на другой бок,

заскрипел кроватью; с опаскою глянул на жену: не разбудил ли? Продолжала спать блаженно. Безмятежно посапывала. Сжатый кулачок под щекой – дитя. Невольно и позавидовал: ее-то не терзают проклятые заботы о выполнении плана... Заложив скрещенные руки под затылок, Мэндэ Семенович устался-уперся взглядом в потолок.

Ночь тянулась нудно. Не было ей конца. И казалось, не будет. Впрочем, это и к лучшему бы.

Перед тем как лечь, звонил Зорину домой: не вернулся ли? Нет, но обещался обязательно.

Кэремясов пошарил в тумбочке. На днях сунул туда пачку сигарет. Хотя вот уже несколько лет как бросил курить, в последнее время иногда тянет.

«А-а, вот и она, милая». От неловкого движения пружины резко взвизгнули.

– Что, Мэндэ... что случилось?

– Да ничего... Выкинуть давно пора эту чертову кровать: чуть шевельнешься – звону на весь дом!

– А я испугалась...

– Э, оставь. Что со мной может случиться, когда ты рядом?... Спи себе, спи... – притворно зевнул.

– Мэндэчэн... – Сахая включила ночник, достала из-под подушки часики. – О-о, да уже давно за полночь. Я и не слышала, как ты пришел. Чего не спишь, спрашиваю?

– Не идет сон.

– Отчего?

– Жарко очень, что ли.

– Какая жара – прохладно. Ты не спишь от другого.

– Отчего это?

– Ты о другом думаешь – вот отчего.

– Ну-ка, это уже интересно! Уж не ревнуешь ли? Вот это новость! Так говори: о ком это я думаю без сна?

– Не о ком, а о чем.

– Даже «о чем»?

– Ладно, не притворяйся, будто не понимаешь. У тебя это все равно не получается. Словно я не знаю, что ты день и ночь думаешь о своем проклятом золоте. У тебя одно на уме: план, план, план! Скажешь, не так?

– Твоя правда...

– О, Мэндэ... Мэндэчен... Нет чтобы хоть ночью-то спать спокойно... – Сахая протяжно вздохнула и, потянув мужнино одеяло, шепнула: – Ну-ка, подвинься...

Случись это в другое время – Мэндэ в мгновение вспыхнул бы, запылал, словно сухая стружка от спички...

Сейчас он просто обнял мягкое жаркое тело жены, понюхал ее куда-то в висок, затем вяло уронил руку и остался лежать недвижно.

Сахая! О, святая женщина! Другая взвилась бы от ярости. Не взвилась – так надулась бы. Отвернулась капризно-презрительно.

Нежная благодарность хлынула в душу Кэремясова: понимает! Хотя жена понимает его страдания... И заплакать

хотелось. Оросить ее лик живительной влагою. И тем высказать бессловесное, невыразимое. Заодно испросить прощения, смыв позор свой; очиститься от презрения к себе.

– Сахаюшка...

– Милый мой, можно ли так изнурять себя? Не жалеешь себя, родной...

«Знать бы, вернулся Зорин? Чем черт не шутит, вдруг привезет благую весть...» Мысли крутились далеко отсюда; и сам он был не здесь – пустой оболочкою разве. О чем ворковала его благоверная, не слыхал.

– Мэндэ!..

– Слушаю... – Спыхватился: не в кабинете он. – Слышу, слышу, ласточка. – И опять охватила нежность.

– А коль слушаешь, засни. Что, план сам собою выполнится, если ты вот так, с открытыми глазами, проваляешься ночь напролет? Так и помешаться недолго, милый.

– Знаю.

– Ладно, я тебя убаюкаю. – Сахая еще теснее прильнула горячей грудью, принялась ладошкой легонько постукивать его по груди. – Ну, усни, засыпай... Баюшки-баю... Баю-бай... Примерное дитя должно быть послушным... Баю-бай...

Телячьи нежности, отчего совсем недавно он готов был упасть в гнев, оказывается, могут быть так приятны. Смущенный этим открытием, он лежал, сдерживая необыкновенную радость.

– Я уже сплю... Спасибо тебе, мое солнышко... Спи и ты...

Постепенно шепот гас, становился все глуше, невнятнее:  
– Баю... бай...

Незаметно для себя она уснула, ласково мурлыча и постанывая, щекоча легким дыханием его шею.

Трепеща спугнуть хрупкий сон той, кого он теперь любил как никогда прежде, ибо и не подозревал, что возможно так любить, замер. Может, впервые знал (знал неопровержимо и наверняка!): он – СЧАСТЛИВ! Почему же впервые? Разве не бывало, что, пожираемый безумным пламенем страсти, он благословлял временную смерть-бессмертие? О сладость небытия! В ней полнота жизни. Помнится, точно током ударило: «Диалектика!» Думал ли о чем подобном теперь? И в голову не могло прийти. О ней – только. Это-то и счастье!

Сахая...

Мэндэ Семеновичу вдруг померещилось-показалось, будто знал эту женщину всегда, еще до своего фактического рождения – в преджизни, ежели такое бывает. А почему бы нет? – встал было на дыбы. Впрочем, тут же и стушевался. Подавил слепой бунт суеверия. На самом-то деле со дня их первой встречи в прошлом месяце минуло всего три года. Всего? Главное: Кэремясов не смел и представить, как он вообще мог жить раньше, не подозревая о ее существовании на свете. «О жизнь моя!» – вскричало, точно ужаленное, сердце.

– Баю... бай... – откуда-то из немыслимой глубины сна долетело до него ее нежное пришептывание. И там она, душенька, ни на миг не прекращала думать и заботиться о его покое.

Подозрительно! Холостякующий партийный работник – нонсенс! И небезосновательный, сказать, повод для кое-каких кривотолков и заспинных, завиральных разговорчиков и разговорцев. Ан все равно! А не потому ли сопротивлялся до последнего, пребывая в упорном холостячестве, что суждено было встретить ему Сахаю – судьбу свою?

И жутко вдруг стало. Из нестерпимой жарыни – в ледяную прорубь. И снова так. И сызнава. Женись на другой – что было бы? А ведь мог! Что греха таить, было несколько критических моментов, когда и прежде подумывал, и еще как, завести семью и зажить потихонечку-полегонечку, как все приятели и знакомые, и... не мечтать по-ребячески о единственной, предназначенной, необыкновенной любви. Уже было и решил прекратить бесплодное ожидание: «Нет ее такой на земле! И не было. Выдумали поэты. А нет – глупо ждать...» Но в крайний момент что-то возмущалось в нем. Душа не хотела смиряться, глупая. Точно молила сквозь жалобные слезы: «Потерпи еще... еще немного... А там делай, как знаешь».

Что, как поспешил бы: не выдержал? Если бы то случилось, – катастрофа! «К счастью... Родная моя... Голубушка...»

Неуклюж язык выразить невозможное, что случилось в

его жизни. Да нужно ли здесь словесное?

Светозарная полярная ночь текла бесшумно. Неуместной казалась бледная одинокая звездочка, притулившаяся слева от месяца. Робко подрагивала.

Три года. Неужели – и всего-то?

Не раз приходилось слышать признания: захочет кто-нибудь вспомнить, когда и как в первый раз познакомился с человеком, которого знает, слава богу, будто бы с незапамятных времен, и – ни в какую. А ведь не могло же не быть первого знакомства.

Когда, где и как встретил свою мечту и судьбу – Кэремясов помнил до мельчайших подробностей.

Точно с цепи сорвался – загрохотал, задергался, засверкал золотыми и серебряными шпагами оркестр.

Точно ожидание длилось вечность – толпа сорвалась с места и, как бесноватая, задвигалась, засуетилась, завихлялась.

Снисходительно улыбающийся человек, явно не зеленый юноша, стоящий в стороне, отнюдь не помышляющий из себя Онегина – это был он, Мэндэ Кэремясов.

Если и могло так показаться кому-нибудь, что изображает, хотя, может, и не отдавая себе в том отчета, – не правда. Усмешливая гримаса, которая запечатлелась на его мужественном обветренном лице, объяснялась отнюдь не презрением к зрелищу безумного экстаза, в какой впали его соплеменники. «Все мы – немного шаманы», – нередко говаривал

один якутский приятель Мэндэ. В данном случае он имел бы замечательный повод произнести свое любимое изречение: корчам, прыжкам, ужимкам, вытаращенным глазам и прочему, не исключая диких, достойных первобытных охотников воплей, – такому камланию позавидовал бы с зубовным скрежетом сам Кярякан<sup>16</sup>.

И все-таки чем же? В этот момент он ругал (не так чтобы слишком) тех, кто затащил его сюда – на это, ад не ад, сборище. Знал же, быть ему здесь чужим и неприкаянным: измается весь. Знал же... В общем, не без яда усмешечка скорее была обращена на самого себя, оказавшегося незванным гостем на пиру. «Пир» же протекал в арендованной на окраине Москвы столовой, где землячество якутских студентов собралось отпраздновать ноябрьскую годовщину.

Решив через некоторое время ретироваться по-английски и уже не поминая лихом затянувших его и бросивших на произвол судьбы знакомцев, взирал на происходящее перед ним действо как на спектакль. «А что, любопытно! И на такое стоит посмотреть своими глазами». И смотрел.

Сначала в бешено многоцветном месиве он не различал отдельных лиц – одно: потное, искаженное, с бессчетным множеством глаз. Стало скучно. Но уходить почему-то медлил. Что-то словно удерживало. Что могло его притягивать?

И... вдруг метавшийся его взор замер. Остановился. Не сразу и понял, почему.

---

<sup>16 1</sup> Кярякан – легендарный шаман.

А когда понял, забыл обо всем на свете. Это – была Она!

Она – стройная и гибкая, как речной белотал, с вьющимися черными волосами, из которых выглядывало светлокжее прекрасное личико, – его судьба. Именно «личико». Так и подумал в тот миг. Не удивился: как она попала сюда, зачем. И хорошо, что не удивился, – еще осудил бы. Тогда бы... Что зря говорить о том, чего и быть не могло? Удивленный Ее явлением, Мэндэ, однако, успел заметить, что и ведет она себя не как все, и танцует как-то по-своему. Как? И думал бы – не ответил. Тогда, кажется, вспомнилось плавное течение речки. После тоже пытался, уже поостыв, понять: на что же походили ее движения и она вся? Опять – речка...

Оркестр заиграл танго. Кэремясов устремился к Ней, но опоздал: прямо у него из-под носа увел длинный, словно дрын, так окрестил в досаде, парень с космами до плеч.

Зато в следующий раз не оплошал. Музыканты только-только приготовились, как Мэндэ решительно и, пожалуй, не слишком церемонно отстранил ни о чем не подозревающего соперника и, трепещущий, пылающий внутренним жаром, предложил Ей руку. Она ошеломленно взглянула на незнакомца. словно извиняясь, мило и, как показалось Мэндэ, виновато улыбнулась оторопевшему от неожиданной наглости партнеру и... протянула лилейную ручку самозваному кавалеру.

Выйдя на середину круга и кладя руку ему на плечо, Она сверкнула на Мэндэ глазами. Их взгляды встретились.

Как, какими словами объяснить потолковее этот миг? Пережившему нечто подобное – ни к чему; не испытавшему такого потрясения – бесполезно. А себе самому? Уже вспоминая, Кэремясов представлял это так: вот, к примеру, в глухую, ненастную ночь осени вдруг просверкнет молния. И тотчас на неуловимо короткий миг ярко высветляются самые потаенные закоулки дремучего бора. Так же, мгновенным навскидку взором был насквозь просвечен и он. Только, лучше сказать, не молнией – рентгеном. Ему почудилось, что какая-то страшная сила оторвала его от грешной земли, по которой он ступал до последней секунды. Удерживаемые этою силой, невесомо, точно лебяжий пух, поплыли они куда-то. Никто не проронил ни слова – любое было бы неуместно и невпопад.

Танец кончился. Мэндэ догадался о том, увидев, что они остались в кругу двое. Не смущаясь, Она взяла его под руку и повела, как вела и в танце. Он шел покорно: подчиняться Ей – что могло быть приятнее? Они оказались за дверью зала. Мэндэ не спустился на землю и тут. Зачем? Разве можно было спуститься вниз, когда там, наверху, его обнимал дивный свет этих лучистых глаз?

– Кто вы?

Впервые услышав Ее голос, очнулся. И мигом пропала сковывающая его робость. Вспомнил, что еще и не знакомы как положено, наклонил голову:

– Мэндэ Кэремясов.

– Сахая Андросова.

– Высшая партийная школа. – Уже сказав, понял свою оплошность: зачем еще «высшая», словно он этим козырял... Чтобы замять неловкость, добавил – На учебу приехал только нынче.

– МГУ. Факультет журналистики. Третий курс, – И опять сверкнула улыбкою: – С заполнением анкет покончено?

– Не совсем. – Приветливость девушки и то, что она понимает шутки, прибавили смелости. – Откуда будете?

– Из Якутии.

– Якутия велика, занимает одну седьмую Советского Союза, кажется. На какой стороне ваши корни?

«Угадай!» – речные блескучие камешки заиграли – Ее глаза.

Нет человека без страсти. Хотя бы тайной. Человек ли он тогда? Страсть Мэндэ – песня. Бывало, ни один праздник в райцентре не проходил, без его участия.

Ах песня! Она же едва и не подкузьмила: на волоске повисла карьера Кэремясова. Несерьезный, мол, человек – певун, мастер только горло драть с девками. Такой вот слушок стал погуливать. Некий доброжелатель постарался, разумеется. И не о ком-нибудь такое – о втором секретаре райкома. Это сказать – не фунт изюма. Кэремясов-то, презирая мерзкий навет, запел было громче, с неким даже как бы вызовом. Но в конце концов пришлось замолкнуть. Подчинился пар-

тийной дисциплине: сам первый наложил строгое вето.

А какой певец был! Соловей!

Подчиниться-то подчинился – мрачен стал, нелюдим. Да и праздники потускнели.

И опять кто-то из доброжелателей, другой, похоже, пустил новый слух: уважаемый товарищ Кэремясов, мол, в обеденный перерыв запирается в кабинете и предается преступной страсти. Сам слышал из-за двери. Правда, точно сказать не может, что: то ли печальная песнь какая, то ли рыдания. Но этому досужему вымыслу, конечно, мало кто верил.

Было ли так на самом деле? Могло и быть. А там, извиняемся, кто ведает.

А вот что правда, то правда: совсем свой дар Кэремясов в землю не закопал. Какое застолье без песен и музыки? А их, то есть, простите, застолий с гостями из области и повыше, случалось, и из столицы-матушки, бывало до хрипоты. Душу, во всяком случае, отвести можно было.

Ах, песня!

Что мы все без нее?

Вот и сейчас. Приблизив губы к фарфоровому ушку девушки, Мэндэ тихо пропел отгадку:

Из Олекмы ли

Иль с Оймякона,

Из Кангаласцев

Иль с Колымы –

Откуда и каких кровей?

Сахая отрицательно помотала головой.

Мэндэ, чуточку отстранясь:

Из Татты

Иль из Табаги

Из Харбалааха

Иль из Хатасцев –

Откуда и каких кровей?

Она посмотрела на него очарованными громадными очами, ответила шепотом:

– Нет...

Мэндэ приклонился к другому ушку Сахай:

Не из Сунтара ли

Или из Сулгачей,

Может, ты алданская

Или даже амгинская –

Откуда и каких кровей?

Восхищенно внимая пению Мэндэ, Сахая все же была вынуждена опять качнуть отрицательно.

– Не угадал... – Сожаление просквозило в голосе.

Мэндэ уронил сокрушенно голову.

– Все! Сдаюсь и уповаю на милость победителя!

– А я готова слушать вас еще и еще, пока не угадаете...

– Позвольте надеяться, что ваши загадки на этом не исчерпались. А сейчас предпочитаю сдать. Но главная правда в том, что и сам не знаю: имеет ли эта песня продолжение

или нет.

– Я из Чурапчи, – смилостивилась.

– А-а, слышал: «Чурапча – пуп земли!» Как же...

– Да! Да! – уловив полунасмешливый оттенок, парировала задиристо. – Для меня самое лучшее место на свете! Лучшее!.. Лучше... – и не нашлась, с чем сравнивать. Вся так и цвела, и пылала, и ненавидела всякого, кто посмел усомниться бы в ее правоте.

– Даже Москвы?

– Представьте!

– Чем? Скажите, обрадуйте...

– Радуйтесь! Во-первых, там родилась я. Поэтому!

– Согласен на сто процентов! – Мэндэ воздел руки вверх.

– Во-вторых, по преданию, Москва стоит на семи холмах, а наша Чурапча – на девяти.

– Сколько там холмов, – по пальцам не пересчитывал, так что спорить не стану. Но мне дороже «во-первых».

Их взгляды снова встретились.

И тотчас сверкнули шпаги – ударил оркестр.

Косматый малый, подстерегавший момент, разлетелся было, но, натолкнувшись на взгляд Сахаи, остановился, как бы суксился и потряс головой. После чего презрительно скривился и... тут же, видимо, утешил оскорбленное самолюбие: подхватил какую-то размалеванную девицу в джинсиках и... Какое нам дело, что «и» и «дальше»?

Мэндэ и не подозревал о только что разыгравшейся на его

глазах драме: глядя – не видел. Не то чтобы выкинул из памяти и забыл по этой причине своего бывшего соперника. Он не видел никого, кроме Нее.

Сахая возложила руку на плечо Мэндэ...

Через два года, когда Кэремясов окончил ВПШ и соби-  
рался домой, в Якутию, они расписались.

Год разлуки – Сахая должна была заканчивать универси-  
тет – тянулся по меньшей мере вечность.

Раскаленный гвоздь – мысль, точно вколоченная в мозг,  
страшно мучила Кэремясова, не давая забыться сном: план!

Сколько можно долдонить об одном и том же? Увы и ах!  
Если бы это было в его или вообще в чьей-то власти, – ра-  
зом и прекратил бы. Мигом и погрузился бы в нирвану...  
Знал: напрасно мечтать о блаженном забвении. Засни паче  
чаяния – все одно не явится босоногое детство, не забулька-  
ет ручеек плескучий, не забормочет бор дремучий. А ведь  
это, и только это, спасло б. В смутно-бескрылом сне станет  
еще хуже, муторней. Тревога, какую сейчас хотя бы можно  
обмысливать, ища выхода, в беспомощном, обморочном со-  
стоянии, опутает цепкой колючей сетью; и будет напрасно  
трепыхаться все существо в беспокойных судорогах, вскри-  
кивать несуразное и стонать, как немое. Немое и есть.

«Все ли первые секретари так мучаются, когда грозит  
срыв плана? – кольнул горячий гвоздь. – Или я так психую

потому, что «уж больно хорош»?» И другие мелкие сообщения стали выскакивать дождевыми пузырями. Среди прочих и такое: вторым секретарем за спиной первого работать было куда спокойнее. Этот пузырь тут же и лопнул. Второй продержался подольше: может, эдак-то, до сердечных спазм, переживается только в первые годы; потом притерпишься и... «Только не это!» – ужаснулся воистину: представил каким-то образом себя, живого, вибрирующего каждым нервом человека, невозмутимым, с цинично-хитрым взглядом чиновником – только не это.

Кто-то, наверное, подумал сейчас о Кэремясове: на него напала икота. Придется вставать, плестись на кухню. Кстати захотелось и закурить.

Напившись через носик заварника густого чаю, с наслаждением затянулся «Вегой». Кто, хотелось бы знать, помянул его среди ночи? Что – Зорин, не сомневался. Кто, как не он, должен переживать не меньше, а даже больше, чем Кэремясов? После сорока лет безупречной работы завалить план и, не исключено, вылететь с позором из директорского кресла – это и переживет не всякий...

Время по секундам капало из крана.

«Черт, и не позвонит. Наверняка думает, что я дрыхну без задних ног, – как будто и не без обиды подумал Мэндэ Семенович, хотя не был вполне уверен, что тот вернулся из поездки на дальние прииски. Но вдруг вернулся и привез хорошие вести? И тут же поверил, что так и есть. – Ну, чертуш-

ка! Ну, Михаил Яковлевич!» Знает он этих старых зубров: самую благую новость из них клещами нужно вытягивать. А чтобы такой стал трезвонить, еще и ночью, — думать нечего... Настроение заметно улучшилось. Если Зорин приехал, сейчас уж точно не спит. Скорее всего чаевничает. Улыбнулся поощрительно: не мог поручиться, что Таас Суорун с устатку не пропустил шкалик-другой, что и третий не задержится. «Брякнуть ему, что ли? Если даже и разбужу, ничего страшного. Но, чую, бодрствует старик. Наверняка бодрствует!»

Долго не отвечали. Кэремясов уже хотел положить трубку, как в ней наконец-то возник густой хриплый бас:

— Зорин слушает.

— Добрый вечер, Михаил Яковлевич!

— Мэндэ Семенович? Здравствуйте! Но сейчас уже не вечер, ночь на дворе.

— Разбудил вас — простите.

— Да я только что приехал. Машина в пути завязла, — голос в трубке внезапно пропал.

— Михаил Яковлевич...

— Погодите чуток... — прошуршал шепот, — Не ложилась моя старуха, пока не дождалась. Только вот уснула. А телефон наш, на беду, у самых дверей в спальню...

— Михаил Яковлевич, вы сейчас ложитесь?

— Да нет пока... Чаю попью, то, се... Как-никак вернулся

из дальней поездки...

– Можно мне сейчас навеститься к вам? Я тихонечко...

– Если спать не намерены, приходите... Жду вас.

Дома казалось жарко, а на улице – холодрыга. Из глубоко-го распадка гор, нависших над поселком с двух сторон, тянуло прохладным ветром. Лужи прихватило ледком. Кэре-мясов поднял воротник пиджака, запахнул грудь.

Небольшой поселок в три улицы, растянувшиеся вдоль берега речки, тихо дремал в тускло-призрачном свете север-ной ночи. Лишь изредка кое-где взбrehивали добросовест-ные псы и тут же смущенно замолкали.

Зрелище, какое представлял собой Зорин, ничуть не уди-вило Кэремясова: лишь в трусах и майке, в галошах на босу ногу, он пытался натянуть мокрые болотные сапоги на вы-соко торчащие столбы забора. С кряхтением, с пофыркива-нием и произнесением про себя каких-то слов это удалось. Затем два-три раза шваркнул заляпанными вдрызг липкой грязью штанами о штaketник. Убедившись в тщетности ста-раний сбить присохшие ошметки, принялся было отколупы-вать ногтями; но скоро прекратил «мартышкин труд», забро-сил штаны на жердины.

– Высохнет, так отлипнет сама, – пробормотал и про себя, и для Кэремясова, приветствуя таким образом, как бы гово-ря: «Я с первой минуты видел, когда вы подошли, и торо-пился поживее закончить неприятные, но необходимые де-ла, чтобы после полностью быть к вашим услугам». Так или

приблизительно так. Взгляд на небо предполагал, что и Кэремясов не преминет задрать голову, и тогда, пред ликом небес, можно считать, само собой затеется разговор на равных. Начнется же с естественного в такой ситуации вопроса:

– Не задождит?

Кэремясов отвечал соответственно:

– Не должно бы! Синоптики обещали ясную погоду... Ну, как съездилося, Михаил Яковлевич?

– А вот... – зябко передернув голыми плечами, кивнул на увешанный мокрой амуницией забор. – Холодноовато, кажись...

Ну хитер! Кэремясов решил терпеть: «Ладно, пусть потомит его, Кэремясова, если это доставляет удовольствие...» Новости, которые привез Зорин, последние сомнения отпали, должны быть самыми замечательными. Чужл. По походеке видел.

На кухне Зорин потянулся к выключателю.

– Не стоит, Михаил Яковлевич. И так видно.

– И то верно. Ведь нам читать не надо. Мимо рта не пронесем, – хозяин принялся варить чай. По-приисковому.

Интонация предстоящей беседы нащупывалась исподволь, неторопливо.

– Уже глубокая ночь, а вы чего-то не спите?

– Сон не идет.

– У молодого небось кровь играет. Когда под боком такая раскрасавица! Я бы от усталости заснул, как мертвый. Гхэ...

Гхэ... — закашлялся. Случайно? Или... специально: мол, в ответе он и не нуждается. А факт есть факт.

Кэремясова покорило. Смутился и оттого — не знал: обидеться или нет. Едва ли Зорин думает, что такими словами опошляет святое. Здесь подобные вещи говорят как само собой разумеющееся. Мэндэ Семенович не сегодня уловил это. Другое дело, что привыкнуть к подобному тону, тем более принять его, — нет. Душа протестовала!

Зорин, само собой, не придал сказанному никакого скрытого значения, уже и забыл, прокашлявшись.

Дистанция же в предстоящем разговоре тем не менее определялась.

Глядя на сутуловатую спину колдующего с чаем Зорина, Кэремясов помимо воли поймал себя на том, что как бы и раздражился. А ведь такого ощущения сначала не было. В чем же дело? Мелочь, может быть; думать о ней ни к чему бы; но если эта ничтожная мысль свербит мозг: «Неужели Зорин не мог одеться ради гостя? Щеголяет в задрипанных подштанниках! Штанов у него, что ли, не хватает?» В иное время, помнится, помятость директора комбината не вызывала неприязни. Теперь же... И, главное, родилось ощущение как будто невзначай, ни с того ни с сего. Вдобавок что-то бурчит или мурлычет себе под нос — песню, надо думать. А поет он всегда одно и то же: старые приисковые да лагерные.

Кажется, забыв о госте, Зорин и на сей раз бурчал что-то про Колыму.

Что, песни он пришел слушать? Напрасно он это сделал. Суетится, как мальчишка. И правильно, разозлился уже на себя, если за такого и принимает его этот тертый, битый и мрачноватый хозяин тайги. «Пора! Пора уже научиться сдерживать свои детские порывы! Не в первый же раз кидается в объятия, чтобы нарваться на кулак!» Единственно чего сейчас боялся Мэндэ Семенович: завестись. Сдерживал себя. «Все! С этого дня – никаких улыбочек! Никакого панибратства!» Не испарилась и надежда, что...

– Ну, садитесь, потрапезничаем! – Зорин, донельзя, видно, довольный достигнутым результатом, с неожиданной улыбкой широченным хлебосольным жестом развернул перед Кэремясовым роскошное зрелище пира.

Только что принявший твердое решение отклонить приглашение, Мэндэ Семенович, не сообразив, как получилось, уже сидел за столом.

– Выпьете, может? – откуда-то из-под стола появилась бутылка коньяка.

– Немножко... – и опять ведь машинально согласился. Не своей волей. Зазевавшись, накрыл граненый стакан ладонью, когда уже был почти полон.

Зорин и себе хотел налить из той же бутылки, но, пренебрежительно буркнув: «Э, ну его», опять пошарил где-то под столом, извлек на сей раз бутылку с прозрачной жидкостью.

– Поехали!

Правду сказать, святого из себя Кэремясов не корчил, но

сейчас особой охоты почему-то не испытывал: слегка пригубив, поставил коньяк на стол.

Зорин же одним духом, не отрываясь, выпил полный стакан спирта, крякнул, обтер рот тылом ладони. Тут же набулькал по новой.

– Может, не надо, Михаил Яковлевич?

– Не бойся! – резко и, как могло показаться, грубо (Кэремясову так и показалось) отмахнулся Зорин. Тут же и забыл о грубости. Тоже, видать, не придавал значения.

– Зачем пьете?

– Ты – молодой. Ты не поймешь... – так же, удерживая дыхание, проглотил второй стакан.

Не из тех Кэремясов, у кого глаза полезли бы на лоб, окажись они свидетелями такого, но, признаться, и ему стало как-то не по себе. Не то чтобы боялся или брезговал забулдыжной компанией – однако не мог уважать людей, пьющих «по-черному». Тем более при нем. Зорина же он уважал и хотел уважать дальше. Того, видимо, эти соображения сотрапезника не интересовали вовсе: не раскрывал бы своей подноготной. Это-то обстоятельство – явное пренебрежение к его отношению – и задевало, может быть, Кэремясова болезненнее всего остального.

А вот следующей метаморфозы Кэремясов, приготовившийся к любой невероятности, никак уж не ожидал: подцепив на вилку картофелину и поднеся ко рту, Михаил Яковлевич... застыл. Говоря по-простецки, остекленел.

Такого лица у Зорина Кэремясов никогда прежде не видел. Да где и когда, собственно, мог видеть? Не на райкомовских же заседаниях и совещаниях. Раньше в голову не приходило, а нынче вот пришло: каковы-то они, зубры, в «своем», так сказать, кругу – о чем и на каком языке (ясно, что имеется в виду) ведут собеседования в застолье, на рыбалке, на охоте ли, мало ли где при желании можно расслабиться? Вот послушать бы! Упаси господи, ничего такого и близко не думал! Бррр, мерзость! Совсем другое занимало: матерые, не сомневался, словечки у них в ходу! Как говорится, хоть стой, хоть падай! Живой человеческой речью поласкать слух и душу – вот ведь в чем суть. От официальных словоречений, почти физически ощущал, превращается в некую говорящую машину. И говорящую-то заученно, суконно, пресно. Оттого и голос приходится повышать... Разве не завидовал безотчетно он этой, другой, жизни? И тем больше, чем меньше согласился бы признаться. Оно всегда так. Но не был Кэремясов в нее допущен. Не был посвящен. Не потому, что не допустили бы и не посвятили бы, – сам старался случаем не попасть. А вот теперь... И спеть бы над ленским простором – душа нараспашку! Э-эх!

Зорин сидел, уставившись в пустоту.

Хотел тихонько окликнуть, вернуть из потустороннего мира (куда ж еще могла занести доза, способная сокрушить медведя, найдись среди таковых пьющий, – подумалось не без ерничества), но, заглянув в глаза Зорина, увидел в них

что-то, чего не понял, но оно и отшатнуло. Кэремясов уже не сомневался: это «что-то» – результат поездки. Какая потрясшая Михаила Яковлевича история могла случиться?

Шофер Зорина, лихач из лихачей Василий, мог поклясться, что все было о'кей, не считая ерундовой пустяковины, обошедшейся директору легким ушибом. Когда вывернули с боковой дороги и с ветерком летели по вольной магаданской трассе, машину, врать ни к чему, здорово-таки тряхнуло. Но он не виноват: раньше в этом месте рытвины не было. Зачем Михаил Яковлевич приказал остановиться здесь и долго сидел, задумавшись? Это дело не его, не Васино! Не удивился и тому, что Зорин попросил его вырубить «к черту!» клевый джаз, а самого – «погулять чуток»? Нее... Может, захотелось «деду» в тишке посидеть и подумать – жалко, что ль? Других случаев нынче, Вася – свидетель, не было.

...Это случилось давным-давно. В ту пору, когда Михаил Яковлевич только приехал сюда. Осенью, проработав на маршруте, он поймал старый, грозящий развалиться на ходу грузовик-газогенератор и поехал по этому шоссе. Оно тогда еще строилось. Машину тяжело кидало-бросало на частых рытвинах и выбоинах, но землю уже успело прихватить морозом и они не завязли. Через некоторое время подъехали к месту, где велись дорожные работы. По гравию шоссе под конвоем вооруженной стражи бестелесными тенями шурша сновали взад-вперед призраки – жалкие подобия того, чем они когда-то были. «Люди это ведь, люди же...» – с холоде-

ющим от ужаса сердцем подумал Михаил Яковлевич и тут же наткнулся глазами на человеческие ноги, торчащие из-под тонкого слоя земли, по всему видать, присыпанной только что. Ноги были в опорках с дырявыми растрескавшимися подметками, прихваченными ржавой проволокой. Чуть подалее, у противоположной кромки, выглядывали неправдоподобно длинные пальцы другой пары ног, почему-то голых.

– Что это? – ничего еще не соображая как следует, как-то даже придурковато бормотнул Михаил Яковлевич.

– Как «что»? Люди!.. Люди же... Избавились они все-таки от муки-мученической... Наверное, нагрянул кто-либо из грозного начальства – вот и оставил свою мету. Страшают, ужас нагоняют! – Шофер так зло нажал на газ, что машину бешено потрянуло и судорожно бросило вперед...

Все последующие годы он старался прогнать от себя тот ужас. Конечно, мог бы рассказать кому-нибудь, тем самым и переложить часть проклятого груза на чужие плечи и душу. Но никому не рассказал.

Кошмарное видение уже как будто и потускнело, затянулось серенькой паутиной. И – вот вспыхнуло с новой, еще более пронзительной силой и щемящей болью. Никто, ясно, не виноват, что рытвина неожиданно-негаданно появилась именно в этом месте.

Всю дорогу Михаилу Яковлевичу казалось, что едет он не

по гравийному покрытию автотрассы, а по людским телам. Впрочем, так оно и было.

Спирт, оглушив в первое мгновение мозг, не заглушил память – наоборот.

Кэремясов не мог бы ответить, сколько времени Зорин пребывал так – в застылости. «Зря я пришел», – отвернулся к окну, чтобы не видеть и не запоминать такое лицо, думал он, собираясь встать и незаметно уйти.

– Ты что-то сказал?

Обернулся на голос. На Кэремясова смотрели совершенно трезвые, еще более трезвые, чем до этого, глаза Зорина.

– Не люблю чиликать наперстками, – как ни в чем не бывало, вовсе и без усмешки, обычным голосом сказал Михаил Яковлевич и принялся за остывшие котлеты.

Некоторое время оба молчали. Зорин – жуя; Кэремясов – растерявшись, не зная, как объяснить невероятное преобразование сотрапезника. От этого злился.

– Да вы почему не едите? – держа вилку торчком, изумился хозяин. – Если не пить, не есть, то зачем в гости ходить?

– Чтобы послушать вас, уважаемый золотодобытчик! Чем могут порадовать прииски?

– Работают вовсю, – хрустел соленым огурцом. – Запасные части к бульдозерам завезли, это прямо как гора с плеч, – дернулся кадык; вздохнул с облегчением.

– «Работают вовсю», – зло передразнил. – Плана не могут дать, и это называется «вовсю»?

Зорин, будто и не заметив сарказма:

– План аргасцы не только выполняют, но и значительно перевыполняют. А кроме того, – не в отместку, не в поучение: трудиться можно даже при невыполненном плане. Судя лишь по цифрам сводки, вы у себя там можете рассуждать всяко, но у меня, извините, язык не поворачивается сказать, что на Чагде люди трудятся неудовлетворительно. Не их вина, что подвернулся участок с бедным содержанием металла. В этом скорее вина наша и вина геологов.

– Ладно уж. Лучше расскажите по порядку, что решили, какие меры наметили?

Подробнейше Михаил Яковлевич рассказал о проведенных на приисках собраниях коммунистов и рабочих, о широчайше развернутом на карьерах социалистическом соревновании за максимальное сокращение простоев из-за поломки специальной техники, об единодушном стремлении за счет этого добиться круглосуточной безостановочной работы всех промывочных приборов, о героическом настроении и намерениях руководства приисков – в общем, обо всем... Кончив отчет, выпил залпом уже успевший приостыть чай и молча принялся катать пустой стакан меж ладоней.

– Ну и?..

– Вот и все...

– Как все?!

– Горняки «Аргаса» обязуются сезонный план перевыполнить на три процента. На «Чагде» – дать добычу на два-

три процента выше прошлого месяца. Думаю, что они смогут сдержать данное слово. Если, конечно, не снизят взятого темпа.

– Ну а вы?

Зорин поднял на собеседника непонимающие, безнадежно усталые глаза.

– Ну а вы, довольны этим? – вынужден был расшифровать свой вопрос Кэремясов.

Кажется, дошло.

– Да, я доволен! – со стуком, словно припечатал, поставил стакан на стол. Вскочил было, с явным намерением пройтись по кухне, но тут же сел, обнаружив себя в одних подштанниках.

Кэремясов молниеносно воспользовался преимуществом:

– Нам великодушно обещают два-три «грома-а-адных» процента, а мы... падаем в ножки за такое благодеяние! – Кэремясов взял в руки пригубленный коньяк. – Выпьем, Михаил Яковлевич, в «великой радости», что чагдинцы дадут все-таки восемьдесят процентов плана! Давайте стукнемся!

– Я уже кончил. Никогда не повторяю.

– А я никогда не пью один! – Кэремясов поставил стакан обратно. – И вообще-то, стоит ли пить за эти восемьдесят?

– Мэндэ Семенович... – Зорин обескураженно раскинул руки и откинулся на спинку стула. – Вы же ведь несколько не хуже меня знаете: оба прииска работают на пределе возможного!

– Знаю.

– Как же можно требовать от людей?..

Кэремясов вырвал из пачки «беломорину», закурил, закашлялся, сломал папиросу в пепельнице. Возмутило: этот Зорин как будто жалел его! Его, Кэремясова?

И не ошибся: так и было. Глядя на молодого, кипящего секретаря, «зубр» думал: «И чему вас, голуби мои, учат в ВПШ-то? Потер бы я тебе, сынок, в баньке спинку... А ты мне – само собой, так, что ли, подразумевается? Так. Так...»

– Значит, с планом мы нынче явно не справимся?

Зорин только промычал в ответ.

– Так и записываем заранее!

– Зачем «заранее»? Ситуация, знаете, переменчива. На карьерах Чагды могут обнаружиться богатые участки. В таком случает; мы разом взлетим на самый гребень.

– А если нет?.. Получается, вы предлагаете ждать у моря погоды. Между прочим, Михаил Яковлевич, мы – коммунисты! Мы!..

– Почему «между прочим»? Я считаю себя коммунистом без всяких этих «между прочим».

– Тем лучше. Если мы коммунисты, то не должны спокойно ждать, когда природа соблаговолит преподнести нам подарок. Нас на наши посты назначила партия. Чтобы мы организовали борьбу за план, чтобы мы его обеспечили. Если не окажемся на высоте положения и не сумеем, то нас... – Кэремясов сделал рукой резкий отстраняющий жест и при-

свистнул.

– Знаю. Много раз слышал то же самое, когда говорили куда более грозно, – Зорин тяжело вздохнул. – Снятием меня пугают вот уже тридцать лет подряд.

– И перестали бояться?

– К сожалению, не перестал.

В кухне посветлело.

– Ночь-то уже проходит. Сколько там набежало?

– Скоро четыре.

– Пора и домой.

Оба вышли наружу.

– Михаил Яковлевич, разговор о том, что «план все равно не выполним» и прочее, пусть останется между нами. С унынием, апатией надо вести решительную борьбу. Мы не имеем права расслабиться.

– Само собой.

– Извините, уснуть я вам не дал.

– Ну что вы, и сейчас имеется три-четыре часа. – Зорин обвел взглядом горизонт. – Кажется, намечается ясный денек... Признаться, в последнее время лишился спокойного сна. Не гипертония ли подкрадывается? Мучаюсь бессонницей и черной завистью завидую Владиславу Кузьмичу?

– Какому это Кузьмичу?

– Да Ермолинскому, бывшему директору. Человек сам себе обеспечил безмятежный сон.

– Тогда времена были другие. Попробовал бы сейчас про-

делать такие фокусы – несдобровать бы.

– Весьма сомневаюсь. В чем, по сути, его обвинили бы, – что имел тайный запасник? Поставишь на чашу весов требуемое количество золота – ты хорош, не поставишь – плох. Победителей, известно, не судят. Коль есть план...

Кэремясов, не дав договорить:

– Утром жду в райкоме, – холодно обронил и вышел на пустынную улицу.

Зорин тоскливо смотрел вслед.

Сунув гудящую голову под подушку, Мэндэ Семенович приказал себе заснуть. Приказать-то приказал, да где там... Ощутил непонятную зависть. К кому? Не к этому ли?.. как его – Ермолинскому! В чем, собственно, его преступление? Он же все промытое золото до последнего грамма передавал в государственный сейф. Это что, заслуга или вина? Правда, золотую кладовую он держал втайне, скрывал от государства. И за это...

Не-ет, эдак можно свихнуться. В путаных мыслях Кэремясов то ли ругал себя, то ли смеялся над собой. Было ли это сном? Едва ли. Видимо, он еще не спал, когда подумал... «Подумал» – не то, пожалуй, слово, чтобы объяснить, что и как произошло. Он просто лежал, вроде бы ни о чем и не думая. А тут вдруг взяло да сверкнуло в мозгу. Даже не мысль, а одно-единственное слово: Джэнкир! Название его исконных родных мест. Почему именно в эту измучившую его бессонную ночь к нему пришло это полузабытое уже слово? В

тоске по детству, как дорогое воспоминание?.. Нет, нет, только не это... Не надо увиливать, обманывать самого себя. Ты уже точно знаешь, почему вдруг всплыло в памяти название твоего родного гнезда. Знаешь, но не хочешь сознаться даже сам перед собой...

– Да нет... – словно пытаясь отстранить искушение и оправдываясь, бормотнул смущенно.

Светлынь плавала в комнате. Наконец Мэндэ Семенович, кажется, задремал. Сон его был тревожен.

## Глава 4

Только его здесь и не хватало!

Кого? Где «здесь»? Максима Владимировича Белова – на знаменитой земле колымской.

Ждали: давно заготовлены речи и транспаранты, ораторы и ликующие толпы народа – только б скорее спускался с неба, как Бог из лайнера... «Ур-ра-а!..» И туш. «Да здравствует!..» Снова – туш. Пылает оркестр пожаром.

Он и спустился. Речей и народных шествий, хитрец, избежал, с носом оставил местных руководителей: прилетел инкогнито.

Он и явился.

– Чего надо? – Хмурый голос, не то мужской, не то женский, не разобрать, раздался в щели приоткрывшейся двери, в которую он деликатно стукнул минут пятьдесят назад и теперь еще раз, не более сильно. После чего и услышал тяжелое шарканье, дребезг крюка и этот нелепый вопрос. Ясно ж, зачем среди ночи стучат в гостиницы.

– Можно переночевать?

Последовало незамедлительно:

– Мест нет. – Ответ был, конечно, уклончив. Не в лоб: мол, нельзя! Результат, однако, один и тот же. Дверь затворилась. Даже и без зловещего скрипа. И бедолага, бездомный шатун и скиталец, невесть коим образом заброшенный

в ночь, не только послушать удаляющееся шарканье и утешиться тем, что не одинок он на белом свете, а есть рядом живые люди. И пусть не совсем святые, но есть среди них и добрые: тот же шофер самосвала! Разве не он, золотая душа, за так довез до поселка? Еще подмигнул на прощание. Не все же такие! Тут ничего не поделаешь. Приняв безропотно свою участь и бормотнув в пользу бедных: «На нет и суда нет», инкогнито начал спускаться с крыльца.

Разумеется, будь сейчас на месте смиренного агнца иной представитель рода человеческого, обладатель жесткого и решительного характера, – он бы мощно саданул в дверь ногою, забарабанил на всю округу, изверг бы всяческую хулу и угрозы дойти до... и выше. Какой бы славный скандалец местного значения разыгрался! День-другой возбужденное население только и обсуждало бы ночное событие, досталось бы тем и этим; да и третьи бы не избежали общественного порицания. Окажись лихой журналист – прогремел-прославился б неизвестный доселе поселок на всю державу! На юге и севере, на западе и востоке разные сердобольные люди увидели бы воочию с возмущением этот так называемый «приют странников» и командированных, смеющийся увенчать себя гордой вывеской, хотя и ржавой и со стертыми кое-какими буквами: «Го... с... н... ца», – жалкую развалюху, обшарпанную, готовую рухнуть в любой момент и погresti под собой «счастливицев», наивно радующихся: «Ах как повезло нам, что мы устроились!» Знали б они... А цербер (конеч-

но же имярек), возомнивший, что охраняет вход в царскую гридницу и что его миссия пропускать только «избранных», превратился б под гневным пером в ничтожество, в грубого и бессердечного держиморду!

«Господи! Как такое возможно? Где мы живем?!» – вскричали бы разом сердца читателей. А у какого-нибудь сентиментального южанина навернулись бы слезы сочувствия: тот, бедолага-то, вынужден был ночевать на улице...

«Бедолага», меж тем спустившись с крыльца, усмехнулся: представил отчаяние обхватившего голову отца: «Я же говорил! Кому ты там нужен? Там своих бродяг и «романтиков» хоть отбавляй! Намыкаешься, обовшивеешь, наголодаешься...» – и т. д. и т. д., что говорится в таких случаях, – и, наоборот, строгий и чуть ироничный прищур матери: «Решай сам, сын! Подумай лишь об одном, простишь ли себе потом, если отступишься, дашь себя уговорить, что мечта и долг подождут?..» Эти слова она иногда говорила ему раньше. В тот же момент он прочитал их в молчании матери.

Однако надо думать и о ночлеге. К счастью, широкая зава-линка «Го... с... н... цы» была, похоже, наспигована опилками. Чем не ложе? Рюкзак – под голову и, накрывшись сереньким небом белой ночи, спи себе на здоровье. Перед тем как погрузиться в блаженный сон, обвел взором нависшую громаду мрачных гор. И, не задержавшись на сравнении их с кавказскими, где отдыхал года два назад с «предками», вольготно вытянул ноги и опустил усталые вежды.

– Чего не стучишь? Не пинаешь ногами?

Голос, казалось, упавший откуда-то сверху, не вдруг просочился в начавшее уже мутнеть сознание, и потому заданный им в ответ вопрос не мог быть из самых мудрых:

– А куда?

– В дверь, конечно.

Открыв наконец глаза, понял, что разговаривает с могучей фигурой, заполнившей весь проем распахнутой двери.

– Что ты там делаешь?

– Сплю.

– Проходи в дом! – повелительно произнесла грозная фигура и исчезла.

Кто бы стал ломаться, поминая прошлое, и потому медлить, показывая, что делает одолжение, – только не наш «беодолага». Мигом подхватившись, взлетел на крыльцо, бесстрашно и безоглядно устремился в крошечную тьму узкого коридора.

– Стой! – Голос раздался почему-то сзади. – Не грохочи: люди ведь спят. Закрючь дверь и подь сюда!

В комнате, куда он пожаловал, свешивалась, сияя, яркая лампочка без абажура. Обладателем мрачного, бесполого существа, как показалось вначале, была пожилая, необычайно громоздкая тетка с широким круглым лицом, на котором среди толстых щек, почти утонув в них, разместились маленький аккуратный нос и сурово поблескивающие из глубины глазки. Стояла она возле ситцевого полога, сложив мо-

гучие руки на необъятной груди.

– Спать будешь вон на нем! – кивнула на старый, облезлый, с кое-где выпирающими ржавыми пружинами дерматиновый диван. – Знаешь, почему я тебя сама пригласила?

– Не-ет...

– Потому что не стал тарабанить в дверь!

– Спасибо.

– Ишь ты. Он еще благодарит, чудила! – Странная тетка как будто удивилась. – Откуда взялся ты, такой обходительный кавалер?

– Из Москвы.

– Только-то? – Неожиданный ответ вдобавок и озадачил. Не смогла скрыть недоверия – Все вы только из райских мест! Так-таки прямо из златоглавой и прямо сюда?

– Прямо. – Подозрения не уловил. Отвечал беспечно и бесхитростно.

– Ну ладно, «москвич», укладывайся!

«Москвич» рад стараться: стянул куртку, сбросил кеды, плюхнулся на диван.

– Э-э, да ты совсем, оказывается, ребенок! – удивилась уже по-другому хозяйка гостиницы, собравшаяся было тоже отправиться за свой ситцевый полог. – И худ-то, боже ж ты мой, худ...

Да уж, толстым нашего героя назвать было никак нельзя. Зато рост – коломенская верста, хоть голову задирай. Лицо – нежно-белое. Глаза – наивно-голубые. Волосы – цвета

созревшей пшеницы. Других особых примет не было.

– Ты, парень, и вправду к нам из Москвы?

– Вправду.

– Сколько лет стукнуло?

– Девятнадцать. – Тут «москвич» немного приврал: девятнадцатый год ему только шел. Но, по сути, разве это не одно и то же?

– Завтра тебя милиция за шкурку не схватит?

– П-п-почему? – стал зайкой от изумления.

– Ты не убежал из дому? Мать, отец имеются?

– Конечно. – Можно было бы обидеться, что его принимают за бродягу, но он не обиделся. И к этому был готов.

Выдавшую виды хозяйку тоже заинтересовал занятный парнишка, не похожий на кое-каких шаромыг и искателей сомнительных приключений. Утех были хитрые, увертливые глаза, да и некоторые повадки, выдававшие, что у этих людей есть какая-то тайна, которую лучше не обнаруживать. «Москвич» же весь как на ладони.

– Как зовут тебя, сынок? – Голос тетки потеплел. И теперь стало совершенно ясно, что он женский.

– Максим. – Наверно, не следовало отвечать так – быстро и простодушно, как ребенку. Точно почувствовав промашку, добавил поофициальней – Белов.

– Максимушка, ты, конечно, голоден? Я мигом...

– Нет-нет, что вы? Я сыт! – Волки так и щелкали зубами у него в животе.

– Так я и поверила, как же: он сыт! – Возмущенная наглой ложью и не привыкшая добро выражать нечаянно налетевшее на нее доброхотство, фурией метнулась за полог. – А я, дура, еще спрашиваю! Где он поест в такую позднь, да еще в чужом месте?

Пока Максим мучительно решал, принять или отказаться от приглашения, с каждой минутой добревшая и становящаяся все более грациозной хозяйка, гремя тарелками, уже метнула на стол крупные румяные пирожки, божественный аромат которых чуть не оглушил его и не лишил сознания. Может, впервые понял справедливость старинной мудрости: голод – не тетка.

– Садись, сынок, поешь!

Отказаться было бы верхом неприличия, и Максим принялся за дело. Скрестив руки на груди, хозяйка стояла рядом и умильно-жалостливо смотрела, как дорогой гость опустошает тарелку.

– Вку-усно! – сумел остановиться, когда осталось лишь два сиротливых пирожка.

– Доешь, доешь!

Немного поколебавшись, Максим взял еще один.

– Спасибо!.. Простите, я даже не знаю, как мне вас называть?

– Просто тетя Нюра. Скажешь так, – и всяк меня тут узнает.

– Спасибо, тетя Нюра.

– Значит, знакомых у тебя, говоришь, здесь нет?

– Нет. – Максим не помнил, чтобы она его об этом спрашивала.

– Чего ж ты сюда приперся?

– Работать. У меня – каникулы. – Работать – оно конечно. О том же молчок, чтобы, главное, склонить голову перед безымянной и неведомой могилой, в которой лежит его дед. И еще великое множество таких же безвинно погибших людей.

– Где же ты собираешься работать? – Само собой, тетя Нюра не могла догадаться о другом, о чем Максим не сказал ей.

– Где-нибудь на приiske.

– Дудки! Прииска, милый, давным-давно полностью укомплектованы людьми – пора-то поздняя. Но– ах ты, ба-тюшки, из головы вон! – позавчера тут вывесили новое объявление. Мне сказали, чтобы я всем приезжающим его показывала.

– Где оно, объявление? – Максим так и подскочил.

Вышли в коридор. Тетя Нюра включила свет.

– Читай вот.

Глаза Максима стремительно пронесли по небольшому клочку бумажки: «Объявление комбинату требуются рабочие в бригаду старателей – Желающих для справок приглашаем по адресу Набережная 28 Дирекция».

– Спасибо, тетя Нюра! – выпалил по инерции, как и читал:

одним духом и без знаков препинания.

– Рано еще благодарить. Не каждый выдерживает работать в старателях.

– Я выдержу!

– Ну-ну, с утра туда и потопаешь. А сейчас – спать. Я свет тушу.

Максим накрылся курткой. Через некоторое время послышались тяжелые осторожные шаги, и сверху на него пушистым облаком легло ласковое одеяло. Уже смежив безвольные веки, услышал, как рядом шумно вздохнула тетя Нюра. «Как моя мама», – еще успел подумать он.

На Набережной, 28, Максим обнаружил небольшой ветхий домишко под трухлявой крышей, кое-где испятнанной грубой заплатой из толя и рубероида. Только открыл дверь –шибануло острой табачной вонью. В довольно просторной комнате, с небольшим столом в углу, находилось человек десять: кто оседлал расшатанный табурет, кто сидел на подоконнике, кто подпирал спиной стену; некоторые расположились прямо на полу, на корточках.

– Здравствуйте! – остановился у порога.

Никто не отозвался. Молчуны нехотя оглянулись на одинокий голос и продолжали по-прежнему густо дымить.

– Здравствуй, коли не шутишь, – за всех ответил пожилой, худой и лысый, восседающий за столом. – К кому пожаловал?

– Сюда.

– А ты, паря, уверен, что не ошибся адресом? – вдруг оживился один из сидящих прямо на полу, багроволицый, атлетического сложения мужчина лет тридцати. На его густых патлах необъяснимым образом прилепилась старенькая кепчонка с крошечным козырьком, натянутая набекрень. – Детский сад, знаешь, находится на другом конце поселка!

Грохнул радостный смех и гогот, отчего пелена табачного дыма испуганно ворохнулась.

– Я пришел именно сюда, – заупрямился Максим. – По объявлению.

– Поступать в бригаду? – уточнил худой и лысый.

– Какая там еще бригада? Я же говорю: он сюда забрел нечаянно, в поисках пропавшего детсада, куда имеет направление! Посмотрите-ка, он еще сопли носит!

Максим и сам не заметил, как громко шмыгнул носом.

Люди опять заухали и заржали.

– Ну-ка ты, Тетерин, прекрати. – Лысый не повысил голоса, но слегка прихмурился. – Кто послал?

– Я сам.

– Ты кто по работе?

– Студент.

– Меня интересует твоя специальность.

Максим смешался.

– Я... ну, в общем... хочу работать!

– Иди сюда, садись, – Лысый показа, л на табуретку, придвинутую к столу. – Работать-то ведь можно всяко. Один –

повар, второй – портной, третий – шахтер. Ты что умеешь делать? Работать на бульдозере можешь?

– Нет...

– На тракторе?

– Нет...

– На автомашине?

– Посещал школьный кружок.

– Шоферские права имеешь?

– Нет...

– Что ты будешь делать тогда в бригаде? – собеседник Максима с разочарованным видом потер лысину.

Откуда Максиму знать, какая там, в старательской их бригаде, подошла бы для него работа.

– Не знаю.

– Лопатой грести золото сможешь? – с необыкновенно серьезной миной спросил Картуз-набекрень.

– Лопатой?

Ну да, лопатой. Вот такой большой и широкой, захватистой. – Широко растопырил руки, показывая размеры предполагаемой лопаты, затем, – как надо ею грести. – Вот так, вот так! Именно золото и только золото! Сможешь, а?

– Сумею...

Зрители, довольные бесплатным представлением, опять дружно загоготали.

– Умерь свою прыть, Тетерин. Дай с человеком путем поговорить, – неприязненно покосился Лысый на самозваного

шута. – Нам не хватает еще двух. Может быть, его... Как зовут?

Лицо Максима, понявшего наконец, что Картуз-набекрень его тут сейчас просто разыгрывал, запылало. Он еле выдавил из себя:

– Белов.

– Может быть, этого Белова нам стоит принять к себе? Весьма сомнительно, чтобы готовый старатель сам заявился к нам без особого приглашения, а время идет. Что скажете?

Подле Лысого сидел, откинувшись к стене, худощавый, но, похоже, весь свитый из жгутов тугих мускулов мужчина, кавказец по внешнему облику, с досиня выбритым лицом и горящими черными глазами. Выплюнув дотлевший окуроч, повелительно обратился к Максиму:

– Сними тужурку!

Опасаясь очередного розыгрыша, тот не шевельнулся, растерянно заморгал.

– Сними, – кивнул Лысый.

– Ух и ах! – опять поспешил обскакать всех Картуз-набекрень. – Я же говорил: детсад!

– Покажи мускулы, – продолжал распоряжаться кавказец. – Засучи рукава!

Максим чуть приподнялся, но тут же сел обратно. Где-то он читал, что в старину крестьяне, покупая на базаре лошадь, – вот так же старательно и обстоятельно оглядывали, общупывали, испытывали ее. Теперь ему прикажут открыть

рот.

– Ну-ка, Чуб, пощупай!

Старообразный старатель с морщинистым лицом, сутулясь, подошел к Максиму и через рубашку небрежно, но цепко сжал его руку.

– Ничего нету. Одна вода.

– Если не можешь управиться на технике, должен хоть обладать крепкими мышцами, – почти без акцента высказал свое мнение кавказец. – Не так ли?

– Так, так! – подтвердили артельщики.

– Ну, вот так, сам все слышал, товарищ Белов, – Лысый опустил глаза.

С курткой под мышкой, багровый от стыда и позора, Максим не помнил, как очутился на улице...

День прошел в напрасных поисках работы. Всюду, куда он ни обращался, в его услугах не нуждались. Подсобным рабочим в магазине не захотел стать он сам.

В гостиницу приплелся поздно вечером.

– Ну что? – встретила его тетя Нюра.

– Н-нет...

– У Журбы не был?

Не зная, кто такой Журба, Максим посмотрел на нее вопросительно.

– Да у бригадира старателей, на Набережной.

– А-а, это у Лысого, что ли? – машинально провел ладо-

нюю по макушке. – Был.

– Что он говорит?

– Им требуется бульдозерист или механик.

– А в простом рабочем они разве не нуждаются?

– Говорят, у меня мускулов маловато, – смутившись, вынужден был признаться.

– Ну и что?

Максим с деланно-беззаботным видом неопределенно махнул рукой.

– Ладно, иди умойся и прочее. В седьмой комнате койка освободилась. Твой рюкзак уже отнесла туда. Есть будешь?

– Спасибо, тетя Нюра. Только что поел в столовой. – На этот раз не обманывал.

– Ладно, иди спи. Утром заходи ко мне чай пить.

...За утренней трапезой состоялся следующий решивший судьбу Максима разговор.

– Максимушка, куда ты хочешь устроиться на работу? – Этот вопрос тетя Нюра задавала ему и в первый раз, но почему-то задала и теперь.

– Мыть золото.

– А чего не работать тут, в поселке?

– Нет, тетя Нюра! – замотал головой.

– Как будто там тебя так и ждут не дождутся! Как же: сам Максим Белов из Москвы!

– Хоть и не ждут...

– Ну, тогда вот что, милый, – выложила на стол мощные

ручищи. – Сейчас сходим вдвоем!

– Эт-то к-куда? – чуть не поперхнулся.

– К Журбе.

– Что вы, нельзя... Тетя Нюра, лучше я сам!.. Я сам!..

– Не шуми! – Нажав тяжелой рукой на плечо, усадила пытавшегося было вскочить Максима. – Тебе же отказали. А мне не откажут! Пусть только попробуют!

– Тетя Нюра!..

– Кончил еду? – Она решительно сняла передник, кинула его за ширму и, крикнув куда-то в глубину коридора – Глаша! А, Гла-ша! Я скоро вернусь! – легонько подтолкнула Максима, решившего ни за что не идти. – Шагай давай!

Скрепя сердце пришлось плестись. «Ладно, перетерплю несколько позорных минут. Все равно же прогонят», – и успокоился. Лишь бы «казнь» совершилась как можно скорей.

Выйдя на Набережную улицу, тетя Нюра вдруг остановилась и грузно повернулась к понурому спутнику.

– Сынок, дай слово, что будешь работать хорошо – на совесть. Ну?

– Честное слово!

...На Набережной, 28, народу набилось гораздо больше вчерашнего. Если вчера табачный дым ходил облачком, сегодня стоял коромыслом. Вчера больше помалкивали (смурное настроение разрядило появление Максима), нынче каждый говорил что-нибудь, хоть бы и не рассчитывая быть

услышанным, – гвалт несусветный.

В первое мгновение сама тетя Нюра, похоже, не то чтобы растерялась, но слегка смутилась. Тут же решительно передвинула пестрый платок к затылку, глубоко вздохнула и, как бульдозер, не церемонясь, растолкала-разбросала ближнюю кучку людей, направилась к столику.

– Здравствуйте, Никодим Егорович!

– Доброе утро, Анна Петровна! – Журба погладил лысину. Такая уж у него была привычка. Даже когда разговаривал с женщиной.

– Что за кавардак у вас такой? Устроили чемпионат: кого кого переорет, да?

Вчерашний кавказец играючи сдернул с табуретки кого-то в замызганной телогрейке, легко, как пушинку, перенес табуретку по воздуху:

– Пожалуйста, тетя Нюра!

– Спасибо, Гурамушка!

– Нам вот-вот надо подавать на участок. А тут что ни день, прорех все прибавляется. Вот и судим-рядим, спорим, кричим... – то ли объясняя, то ли жалуясь, то ли прося какого-нибудь совета, выговорился Журба и забуксовал.

– А я к вам привела нового работника, – обернулась тетя Нюра к двери, отыскивая в сизом тумане своего протеже. Он за это время, казалось, уменьшился в росте, еще больше похудел, глядел и вовсе затравленно. Ни дать ни взять – волчонок. – Поди-ка сюда поближе. Ну, давай...

Готовый провалиться сквозь землю, Максим сделал шаг вперед, выпутываясь из тумана.

– Вот он!

– Тю-ю-у! – присвистнув, подскочил на полу Картуз-набегрень. – Я еще вчера говорил: он из детсада. Вчера был один, сегодня явился с няней! – Приплясывая на карачках, снизу вверх поглядывал на лицо «работника». – А где твоя соска? Неужели обронил?

Тетя Нюра – в одну секунду в ней проснулась дикая кошка! – взлетела на ноги и молниеносно сдернула с кудлатой головы покусившегося на ее дитя картуз. Кое-кто не удивился бы, – появившись у нее острые когти и завопи она пронзительным страшным голосом.

Обидчик плюхнулся на пол.

Возможно, это поубавило пылу-жару, клокотавшего в необъятной от любви и нежности груди, инцидент разрешился словом:

– Ха, Тетеря, на этот раз ты примазался тут? – Грузно поворотилась, снова превратившись в глыбоподобную хозяйку «Го... с... н... цы». – Никодим Егорович, и на ружейный выстрел не подпускайте этого человечешку к себе!

– Он дал зарок, – объяснил Журба. – Тетерин, повтори тете Нюре свои слова.

– Я дал зарок, – покорно, но и не без тайной гордыни подтвердил «человечешку»; после чего как по писаному отбил клятву – Ни единой капельки больше! Абсолютно и беспо-

воротно! – низко склонил голову, точно подставил крепкую напряженную шею. Однако в полной уверенности, что меч не поднимется и тем более не опустится.

– Какой у него зарок? Слово такого алконавта подобно пене в горшке: сейчас – была, через миг – нету! – Отброшенный брезгливой рукой картуз полетел куда-то в угол. – Иди, иди прочь! Он тут еще балагурит, клоуна из себя корчит!..

– Потихе, тетя Нюра, потихе... – Названный алконавтом и клоуном заговорил было с оскорбленным гонором и как будто с вызовом – Осенью вот меня увидишь!.. – Но, прерванный резким взмахом руки тети Нюры, снова готовый обратиться в нечто, что было бы пострашнее дикой кошки, от греха подальше юркнул в гущу старателей, многие из которых блудливо опустили или егзили глазами. Почти каждый имел шанс попасть на ядовитый язык праведницы. «У-у, Теря, лучше бы и не вылезал при этой...» – без особой злобы подумал кто-то из них и притворился невидимкой, затаив дыхание.

Но было поздно. Грозная и насмешливая тетя Нюра медленно и внимательным, прожигающим до самых печенок взором обвела увядшие и скукожившиеся физиономии (иные стояли с закрытыми очами) бравых старателей. Ее словно потрянуло. Так, наверное, заколыхалась бы гора, ощутив подземный толчок.

– Ба-а! Знакомые все лица! Вот уж не ожидала, что вы, Никодим Егорович, с вашим-то опытом и знанием людей,

наберете себе в бригаду этих прожженных хлюстов! И с этой гвардией небось рассчитываете горы свернуть?

«Гвардия» погибала под испепеляющим взглядом противника, но не сдавалась.

– Людей не хватает, – отвечал уступчиво Журба. – Где в самый разгар сезона я откапаю стоящих? Пришлось брать этих.

– А вот? – тетя Нюра жестом, не без скрытого величия, показала пальцем на трепещущего от ужаса и сгорбившегося от готовящегося ему унижения студента. – Он что, не работник? – Язвительная молния блеснула в ее голосе. – Человек специально! приехал из самой Москвы! чтобы работать на золоте. Чем, интересно, он не подошел вам? А-а?! Не тем ли, что не пьет?

– У него нет никакой специальности! – пискнул кто-то, самый отважный, из-за спин стоящих «вольно» золотодобытчиков.

– У него нет специальности, – на этот раз Журба почему-то погладил не лысину, а потер подбородок, – Да и не выдержит он нашей работы.

– Где уж овладеть вашей специальностью! Разве человек с высшим образованием способен научиться тому, что умеет делать хотя бы этот Тетеря?

О язва! Назвала одного Виктора Александровича Тетерина, а ужалила в самую душу многих. Старатели начали переминаться с ноги на ногу. Да и Журба без особой надобности

поскреб за ухом.

Между тем тетя Нюра как ни в чем не бывало и, вовсе не рассчитывая на такой эффект своих горьких слов, продолжала:

– Молодой же парень, выдержит и физическую нагрузку! Конечно, ему придется нелегко, даже просто тяжело, но он это выдержит! Уж в бега-то не ударится. Я научилась разбираться, кто чего стоит. Вот теперь каждого из вас я вижу насквозь и знаю, кто на что способен, уж вы мне поверьте. В Максима поверьте, Никодим Егорович! Я за него ручаюсь.

– Что решим? – Журба оглядел свою бригаду.

Старатели как заведенные продолжали молча перетоптываться.

– Слушайте все внимательно: я за него ручаюсь! Убежит – весь позор падет на меня!

– Принять! – гортанно заклекотал кавказец.

– Кто против? – Журба поднял тяжелые глаза.

– Нет... нет... – оживая, обретали дар речи окаменевшие было старатели. – Если уж сама тетя Нюра ручается за него... О чем тут и говорить?.. Принять... – Забухтели облегченно и радостно.

– Пусть свою соску оставит у тети Нюры, – не утерпела кольнуть и на этот раз вынырнувшая из темноты и, видимо, забывшая преподанный ей суровый урок нерадивая голова забулдыги и клоуна Тетерина. – Соску! Ха-ха!

Смешливых на этот раз не отыскалось. И не из страха пред

тети Нюриным гневом. Строги были лица. Почти у всех про-светлели. Куда подевался малоуважаемый сброд? Готовый к великим трудовым свершениям и даже подвигам, коллектив находился с этой минуты в прокуренной комнате. Спаяло всех и каждого свершившееся на глазах благородное деяние, которому они были не только посторонними свидетелями. Оно состоялось и при их непосредственном участии.

– Как у тебя фамилия?

– Белов. Максим.

– На, заполняй вот анкету. Садись вон туда и слушай. У нас разговору еще – семь верст до небес и все лесом.

– Спасибо, Никодим Егорович! – Тетя Нюра поднялась, повернулась к старателям и отвесила всем поклон. – Спасибо вам всем. Пусть вам хорошо старается и удача не минует вас! – Разогнула тяжелый стан свой, широким жестом передвинула платок с затылка на обычное место.

## Глава 5

Едва хлопнула дверь, Сахая вспорхом к окну, не дыша притаилась за шторой. Вон, вон пошел Мэндэ. Ее Мэндэ!

Некоторые из однокашников переименовывают его имя на русский манер «Мэрдюша». Брр! Слух режет. Какая там еще «...юноша»? Сама она в ласковые минуточки зовет нареченного, суженого, единственного Мэндэчэн. А то кличет, журчит, пришептывает: «Чэ-эн... Чэ-эн...» И: «Что печалит тебя, мой Чэ-эн?» И: «Не разлюбишь меня? Поклянись, мой Чэ-эн!»

Бывает, когда в одиночестве ждет-пождет его возвращения, слезы так и польются сами. И точатся, точатся. Она ж не вытирает, не смахивает: «За что мне такое счастье?» Радость невыразимая – детство вдруг возвращается: тогда лишь твоилось с ней что-то похожее, – колышет грудь. «Чэ-эн...» Кого благодарить за невозможное, ей, Сахае, неизвестно. Да и знать не дано. Не сон ли то наяву? Разве может быть человек так счастлив?

«Ой, худо тебе придется, красавица! Ой, худо, мила-ая! Не приведи господь...» – дурашливо кривляясь, изображая шамкающую старуху, пророчила ей Альбинка Манохина, однокурсница, мужланистая, широкоплечая дивчина из Тверской губернии, как с вызовом говорила встречным и поперечным. О таких сказано: бой-баба! Посмотрит так уж по-

смотрит: рублем не одарит – в горящую избу войдет, точно! Что ж до Сахαι, однако Альбинкина речь вначале лишь: «Больно мы нежные... – Сама, конечно, не в счет. – Принцев нам подавай! А где ты их видела-то среди нынешних мужиков, ась? И не надейся, девонька! Не томи свою душеньку, плохо будет! Не придумывай себе королевича Юруслана! В сказках они только! Мы-то знаем...» На этот раз себя не вычеркивала. Наоборот, – всех прочих.

Не просто же так говорила Манохина! Не могла просто – было, значит, в ее жизни что-то, опыт какой-то был; он и давал право и на эти ее суждения, и на ёрничанье. Над собой панихиду служила, может. А чтобы не очень горько – зубоскалила. «Э-эх, девочки, один был разочек... но по-настоящему – чтобы на всю жизнь хватило! И больше, клянусь мамой, никогда, никогда!» – на взрыде выкрикнула однажды. Отчаяние было в ее голосе. А ночью Сахаю разбудил какой-то шум. Подвывая, рыдала Альбина: «Дура я... Какая же я дура-а-а...» Страшно и жалостно было слушать надрывистое бабье причитание. Оно походило на вой какого-то неведомого Сахае зверя. Может, и вообще его не существовало в природе. Девочки так не плачут.

Не теперь вспомнила ту московскую ночь Сахая. До этого еще далеко. А было такое. Никуда оно не денется. Так ли, иначе – аукнется.

Светлынь сияла на улице...

Хотелось крикнуть: «Мэндэ! Мэндэчэн! Чэ-эн!» – сдер-

жала в себе рвущийся наружу голос. Пристанывала только глазами, телом: «Чэ-эн...»

А может, права хоть немного, хоть в чем-то была грубова-тая, от нерастраченной женской нежности страдающая Альбина: «Нельзя так любить мужиков, подружки! Нельзя-а-а...» Тут уж как никогда сердилась. Для нее это было серьезно.

Да ведь и это предупреждение не вспомнилось нынче Са-хае. Как, впрочем, и все забылось. Ушло. Отлетело. «Ах, ребята, вы так уезжаете, как огонь заходящего солнца уменьшается, уменьшается, выйдет на гору, удаляется, удаляется и, наконец, исчезает. Но как от закатившегося солнца остается по горам отблеск солнечного света, так и я в памяти и мыслях буду носить о вас воспоминание». Пришла в голову старинная якутская песня. Так-то певали в давние времена девушки.

«Чэ-эн...»

Сахая с обожанием смотрела на удаляющегося супруга, обнимала его взглядом, точно старалась подольше удержать.

«Чэ-эн... Милый Чэ-эн...»

А тайна? И она была тут. Но владела ею одна женщина на свете – Сахая. Суть же заключалась в следующем: с виду суровый и решительный, Мэндэ, таким он казался всем без исключения людям, дома наедине с Сахаей легко превращался в ребенка. Нежен и хрупок был в эти минуты. Мог быть и капризен. Она должна была укрощать его. Он позволял это с

видимым удовольствием. О, милые слабости... Что без них человек? Монумент! Каметник, как шепелявя мило коверкал слово пятилетний сынишка ее университетской подруги Ляли.

Вот и теперь... Сколько блаженных мгновений связано с привычкой Чэна неуклюже – смотря для кого; для нее упоительной! – наклонять голову. Конечно, вправо. Верный признак: сосредоточен на тяжелой мысли. Ясно, какой, – о треклятом золоте! Потому и нет человека, кто больше ее ненавидел бы этот «огонь сатанинских глаз». Так и дед ее говорил. Так испокон века говаривали. Отвлеклись невзначай – о привычке Мэндэ затеялась речь-то... Иногда и дома так же наклонит голову – и нет его: словно ушел куда-то. Тогда Сахая с видом ревнивицы надувает губы и ворчит, будто сердится: «О ком затосковал? Перестань! Ты должен думать обо мне одной!» Он засмеется, наклонится к ней: «Хороши у тебя губки, когда надуваешь их вот так. Дай поцелую...» – «Не дам! Ни за что! Если в мыслях другое – поцелуй фальшивый». – «И что сейчас в мыслях у этого фальшивого?» – «Работа». – «А как ты догадалась?» – «Это ведь так просто. Вся правая половина мозга занята работой. Вот она и перетягивает голову. Ты разве не знал?» – «Ай-яй... Если взять во внимание твое высшее образование, объяснение чересчур примитивное. А о тебе я какой половиной головы думаю?» – «Левой, конечно». – «Почему?» – «На той стороне ведь сердце». – «Ну, тогда гляди вот...» И Мэндэ наклоняет голову

уже налево.

Глупость, конечно. Но глупость и шалости – мудрость влюбленных. Может, откуда вычитала; а может, сама такой афоризм придумала. Наслаждалась вернувшимся младенчеством, резвилась, ворковала и вся истаивала в истоме. Что-то вроде и грустное пропархивало в памяти. Что бы это? Следа уже как не бывало.

Эх, Альбинка, Альбинка! Не она ли витийствовала: «Почему лишь месяц медовый определили молодоженам? Тот. Подумайте, девочки. У-умные люди знали...» – и ржала захлебисто. В другой раз совсем озадачила: что, мол, было бы, – проживи Ромео с Джульеттой как муж и жена до старости? Сама же ответила с гоготом: «Он бы ей изменял с кухаркою, она ему – с конюхом». Кое-кто из подруг-эмгэушниц смеялся, не все, конечно; Сахая же зажимала уши, едва не плакала. Это, видать, и пропархивало бессознательно, а в словах оживать не хотело.

Сахая глядела в окно на Чэна. Кажется, удержала взглядом: у него развязался шнурок; присев на корточки, пытался соорудить бантик. Не без ехидства заулыбалась. Штиблеты – тоже история. Что там – целое приключение! Сюжет для Райкина! Потеха вспомнить, какой сыр-бор разгорелся, когда надумала купить ему туфли на высоких каблуках. «Кто я, секретарь райкома или шалопай, гоняющийся за последним криком моды?» Не вступая в полемику, купила-таки. «Хочешь, чтобы я стал посмешищем? Не дожدهшься!» Тоже

не возражала. А недавно в командировке попал, бедненький, под ливень, старые ботинки возьми и скукожись. Не босиком же идти в свой райком – пришлось, хотя и чертыхаясь, влезть в «пижонские» туфли. Ничего, ходит и еще похваливает: «Какая же ты у меня умница!» И так всегда.

Сахая в последний раз любовно с головы до ног оглядела, точно огладила, мужа, готового уже скрыться за углом.

«Оглянись, родной!»

Кэремясов замер. Оглянулся.

Из-за шторы послала ему воздушный поцелуй. И еще раз. И еще. «До свидания, Чэ-эн...»

Сахая пела. Вернее, мурлыкала под нос. Сначала: «На углу у старой булочной там, где лето пыль метет, в та-та (красной? синей? белой? – забыла, как там у Окуджавы) маечке-футболочке комсомолочка идет...» Тенористо... И без передыха: «...меня не любишь ты, зато тебя люблю я, тебя люблю я и заставлю себя любить...» – могучим бархатным басом Ирины Архиповой.

Сахая пела!

А ведь раньше, тихоня, боялась рот открыть. Когда раньше? До... встречи с Мэндэ. «Ты пой! Обязательно пой! – весь преображаясь, блестя глазами, приставал к ней. – Человек должен жить с песней и в радости и в печали! Он должен петь не потому, чтобы поразить людей, а для себя! Именно для себя!» Преодолела и приучилась. И веселее стало. Лю-

бое дело лучше спорилось. Хотя бы и мытье посуды. Чашки, тарелки, ложки так и сияли.

Наклонившись над раковиной, Сахая вдруг почувствовала, как в ней что-то странно сжалось, ворохнулось сердце, и тотчас тошнота подступила к горлу. «Неужели?..» С напряжением выпрямилась и легонько нажала ладонью грудь под левым соском. «Ну!..» Сердце билось ровно. Как обычно. Сахая передвинула ладонь ниже... И там тихо... Тогда она резко наклонилась к полу и, приходя в неистовство, наклонялась еще и еще. Кончиками пальцев, потом и ладонями упиралась в пол. Отдергивала и продолжала сызнава. Принялась изгибаться, вращая-раскручивая туловище. Уже не помня себя извивалась, кусая губы и громко выборматывая что-то сквозь сжатые до скрипа зубы, пока не остановилась в изнеможении. Горячий пот, тут же и заледеневший, выступил на лбу и висках... Снова стала вслушиваться в себя. Нет. Сердце, скачущее от напряжения, было прежнее... Но ведь оно ворохнулось? Несомненно!.. Несомненно ли? И руки повисли плетями. Не сердце обмануло – сама себя обманывала. Сама...

Господи! Желал ли кто так же исступленно, яростно-страстно, как она? Жаждал ли, задыхаясь от неутолимой жажды в смертоносный зной? То призрачная надежда. То ослепительное бешенство. Порою то и другое вместе овладевали всем ее существом, превращая в дикую кошку.

Господи! С тех пор как они с Чэном стали спать под одним

одеялом, ждет. Есть ли конец томлению? Не беспредельна ж мука?

Никогда прежде Сахая не думала о себе – о том, что совершается в ней и совершается ли вообще. Было неважно. И плоть ее жила как бы своей отдельной, независимой жизнью, а она (то, что должно было быть Ею подлинной – может, дух?) – своею. И когда, не считая легких недомоганий или болезней, которые почти не случались, не мешали друг другу, – и хорошо. Возможно, подобное рассуждение упрощает суть дела, куда, надо полагать, более сложного и труднообъяснимого на обыденном языке и в сугубо житейских материалистических понятиях, в принципе отвергающих такое, например, как «душа», но, если не углубляться и не мудрствовать лукаво, так оно и было.

И вдруг все нарушилось. Теперь Сахая зорко и чутко сторожила себя – малейшее колебание, тишайший шорох, который должен (должен ведь!) сломать-разметать оглушающее безмолвие внутри нее и – произойдет небывалое: счастье! Это будет. Непременно. И даже очень скоро. Она легко убедила себя в непреложности этой истины и ощутила чувство некоего превосходства как человек, обладающий величайшей, не ведомой никому из других людей тайной. Тем более что тайна была заключена в ней самой. И с той же минуты начала жить предощущением радости. Жаркое моление, обращенное к кому-то или к чему-то, не Имеющему Имени, охватило ее:

«Почему до сих пор не подаешь о себе весточки, долгожданный и дорогой человек?!..

Будь ты мальчиком или девочкой – безразлично, просто будь нашим: моим и Мэндэ!..

Некоторые женщины рожают не от любви, некоторые – вопреки своему желанию. Я же зову, жду Тебя всей своей материнской сутью, всем своим существом, душой и сердцем, волнуясь и трепеща в предвкушении неизведанного счастья!..

Приди, осчастливь нас, солнышко наше, птенчик наш!..»

Не за себя только страдала-терзалась Сахая. Замечала, как втихомолку, по-своему, по-мужски ждет не дождется и Мэндэ. По тому видно, какие взгляды кидает на нее, когда она неловко оступится ли, пожалуется ли на утомление. И робкая жалость в них, и тоска. Но год уже минул в томительном ожидании. Поначалу они, бывало, с наслаждением предавались разговорам о ребенке, лелеяли восторженные мечты, возводили воздушные замки. Позже оба стали избегать этой темы. И хотя до сих пор удавалось, – сколько труда – уверток и ухищрений – стоила эта ложь! Да и не могла же тянуться без конца.

Недавно Сахая поймала себя на мысли: она готова возненавидеть. И тот, кого бы перестала любить, был не кто-нибудь – она сама. Это неожиданное открытие буквально ошеломило, потрясло ее. Раньше и в голову не приходило: любит ли себя? Да и пришло бы, – отмахнулась шутейно. Вынуж-

денная же отвечать, наморщила лоб всерьез: не перерождение ли то в ней человеческой природы или, допустим, блажь смущенного разного рода полужнаниями ума? А вернее, то был результат отчаяния. Страшилась: не завладело бы ею целиком. Так можно дойти и до кощунства, до извращения, – почему она обязательно должна?.. И отбросило, точно отпружило, от того, что, скажись, и... решило бы судьбу. Необратимо. Бесповоротно.

Сахая облегченно вздохнула: избежала несчастья. Конечно, любит! Но не себя самое – будущее в себе: их дитя, ее и Мэндэ. Дитя любви.

Еще в Москве купила полный набор детского приданого, о чем Мэндэ, к счастью, знать не знает. Оно хранится у нее на дне чемодана. Может быть, зря поторопилась. Недаром у якутов есть поговорка: «Сродни тому, как приготовить колыбель еще не родившемуся ребенку». Значит, делать так – накликать беду? Глупости! Суеверие!

«Приди, осчастливь нас, солнышко наше, птенчик наш!...»

Незачем было подходить к окну и глядеть на улицу: Мэндэ наверняка уже в своем кабинете и по горло в делах и заботах. Пора и ей!

Мороз-воевода еще не обходил дозором своих владений. Должен был явиться с минуты на минуту.

Не успела Сахая привести как следует в порядок разлетевшуюся прическу, стриглась на французский манер, под

мальчика, – прошествовал. Мимо открытой двери пронес себя. Не то чтобы величественно или там торжественно – монументальность же чувствовалась. В поступи, в первую очередь. Громадноплеч. Краснолиц. Жаль, не хватало бороды. Придала бы его облику особенную значительность. Но... то ли не произрастала она у него буйным волосом, то ли в душе сознавал несоответствие тому, что заключалось внутри него. Да и было бы сие понято кем-либо как вызов? Претензия на что-то? Короче: борода как таковая отсутствовала напрочь. Даже хотя бы и намеком.

Дабы не разводить долее туры на колесах, нужно лишь пояснить, почему и за какие подвиги или, напротив, несовершенство таковых – мог, да вот не свершил, – ответственный редактор районной газеты «Коммунист Севера» Николай Мефодьевич Нефедов удостоился не менее почетного звания: Мороз-воевода. Увы, ни то, ни другое послужило причиной, а вовсе ничтожная, казалось бы, привычка его обходить кабинеты сотрудников за пятнадцать минут до официального начала рабочего дня. Зачем, спрашивается. А вот и затем: лично удостовериться, кто «горит» на работе, а кто относится к делу спустя рукава. Удостовериться – и все. Не ради того, чтобы потом упрекать, шпынять, жучить или просто безглаголиво поморщиться («Что, мол, с такого взять, нерадивца?»), – ничего подобного. Получал ли сам от того какое-нибудь удовольствие? Трудно сказать. Скорее, то был пунктик. Некая как бы причуда. Но, впрочем, кто знает... Прозвищем

же Николая Мефодьевича наградила малость чокнутый переводчик Кэнчээри Ючюгяев: если в момент явления редактора обнаруживался на месте, непременно вскакивал, отдавал честь и громко декламировал: «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои». С чувством, душевно. Мальчишеская выходка, конечно. Так и воспринимал ее Нефедов – невозмутимо. Может, и поощрял: иногда в глазах сквозила усмешка. Не мог он обижаться на чокнутого, считая его неизбежным злом, которое должен был терпеть, тем более – на гениального поэта Некрасова.

Что еще необходимо добавить к портрету Николая Мефодьевича? То, пожалуй, что кем-кем, а Марк Твен он не был. И быть не мог. При чем, вытаращится кто-нибудь, этакое странное сравнение? Ан, есть тому резон: знаменитый американец тоже подвизался было однажды (правда, тогда он был никому не известен) на поприще редактора провинциальной газеты, хотя и не чета «Коммунисту Севера», и в конце концов вылетел с треском и свистом. Николаю Мефодьевичу такой позорный финал никак не грозил. Теперь не грозил: крепко зарубил урок, преподанный ему жизнью. Суров был урок: до тех пор как воссел на нынешнее место, он, занимая должность заведующего не какой-нибудь овощной базой, а отделом пропаганды и агитации райкома, оскандалился, допустил грубый промах. Что уж он не так пропагандировал и агитировал, хранил в глубокой тайне; только после того случая был низвергнут в кресло редактора. Стало

быть, не столь ужасен оказался прокол, а за битого, как известно, двух небитых дают. Теперь Николая Мефодьевича на мякине не проведешь, а в полымя и сам не полезет. Капитальный человечище! Личность! Не ветродуй, тем более не щелкопер, падкий до скандальных сенсаций районного масштаба. Дешевую славу презирал, о великой не помышлял. В общем, не Марк Твен.

Однако, пропади вдруг «воевода», – его исчезновение было бы замечено, стало бы поводом к пересудам для одних, для других же, кто не боялся никаких тайфунов и смерчей за его глинобитной спиной, – к воплощению и скулежу. Лучшего не надо, а худого – тем более.

Ничего подобного не скажешь о его заместителе, отвечающем за выпуск газеты на якутском языке. При первом знакомстве даже фамилию Сахая разобрала с трудом: «Баагына-анап», – бормотнув, протянул вялую ручонку и, едва коснувшись, быстро отдернул; тут же, точно спрятался, прошмыгнул в свою комнатку. Сахае не нравились люди, не умеющие знакомиться по-человечески, к тому же избегающие смотреть в глаза прямо... (Между прочим, полное имя зама – Виллой Архипович Багынанов.)

Зато кто удивил Сахаю – Алла Андреевна Самохина, ответственный секретарь. Не первой молодости, но – женщина. В самой поре. Надави – сок брызнет. Как не преминула бы сказать Манохина, тут уж и прибаутка ее кстати вспомнилась: «В сорок пять баба – ягодка опять». Но то внешне.

Главное – характер. Железный! Недолго потребовалось убедиться Сахае, как жестко та держит в своих цепких с темно-вишневым маникюром руках трепетные вожжи, управляя редакцией. «Воеводой» – в том числе. Но это, похоже, его вполне устраивает: с претензиями, коли такие возникали (довольно редко; причина у всех одна: их материал – гвоздь номера, без коего газета просто-таки не имеет права выйти в свет!), молча, движением косматых бровей отправлял к ней. О лукавый змий! О прокуратор, умывающий руки! И тяжек был путь на Голгофу, где чего-чего, а «гвозди» не требовались. Своих избыток. Там царила Алла Андреевна. Если, размеренно ударяя по левой ладони строкомером, как стеклом, прищурит глаза: «Места нет!» – все! Захлебывайся слезами, рви на себе волосы, проклинай несправедливый, жестокосердый мир или, на худой конец, напейся с горя – все!

Даже тончайшей ядовитой улыбочки не разрешала себе Алла Андреевна Самохина, прощая невысказываемую людскую ненависть в глазах – понимала. Ничего другого и ожидать было нельзя.

Почему взяла на себя роль цербера? Зачем ей это надо? И надо ли кому-нибудь вообще? Вопросы, которые невольно возникли теперь у Сахаи, не были для нее в новинку. Другое дело – раньше, в общаге, когда девчонки: с одной стороны, известная язвочка Альбинка и калмычка с иссиня-черной жесткой, как щетка, гривищей Динара, правнучка шаманки, с другой – Машенька Пятунина и грузинка Элисо,

сходились чуть ли не врукопашную, споря до хрипоты о сей причине должны играть руководящую роль в современном обществе, а она металась меж двух огней (жалкие попытки умиротворить враждующие кланы, естественно, всегда терпели крах), эти проблемы были для нее голой абстракцией, интеллектуальным кейфом. Алла Андреевна же – конкретное воплощение их. Она – аргумент в тех давних незавершенных дебатах. Но в чью пользу?

Не бог весть какой интуицией нужно обладать, чтобы заметить, стоит Сахае улыбнуться Алле Андреевне или, хуже, уединиться для интимного обмена мнениями, прочие сотрудники натягивали на лица черные маски, бывшие у них наготове, и становились туговаты на ухо, если Сахая смела после случившегося обратиться к кому-либо с каким-нибудь вопросом. Враждебность начинала носиться в воздухе. Пусть выражаемая не напрямую, – однако... Ну, не чушь ли? «Чушь!» – решила Сахая и не изменила никому в угоду отношения к церберу, как заглазно называли ответсека коллеги.

Что же всерьез волновало Сахаю – ее положение в «Коммунисте Севера». Для того ли она кончала МГУ, чтобы стать зам отделом писем в какой-то обыкновенной районке?

Конечно, грубо ошибся бы тот, кто, сказав про себя: «То же мне, цаца!» – приклеил ярлык: «Зазнайка!» Не из зависти и тем паче фанаберии подумала так Сахая, читая со слезами благодарности послания не забывающих ее сокурсниц.

Элисо теперь – собкор областной, Машенька – зам зав отделом культуры городской газеты. «Милые мои, умницы!..» Но особенно рада за эту дылду – Альбинку Манохину. Вот кто пригодился бы казакам, пишущим цидулю турецкому султану! Сахая пунцовела от соленой грубоватости, а тянуло перечитать еще и еще; места попадались колоритные. Недаром сам Владимир Николаевич хвалил ее за стиль. Хотя бы это: «Охти, разлюбезная девулька! Думала, захомутала вахлачка-агрономишку (в переводе на нормальный язык читай – «вышла замуж»). Это вот и необыкновенно порадовало Сахаю: все девочки боялись очень, что вековухой прокукует свой век громобойная конь-баба; от ее ржания милиционеры шарахались), буду, как Брунгильда Гюнтера, после утех земных вешать соколика на гвоздик, а мужичок оказался такой бедовый и занозистый, – сама не ведаю, как жива-то до сей минуточки...» Ну, и так далее. Вперемежку с похабщиной и непечатностями.

«Вот хамка!» – смущенно смеялась Сахая и точно наяву слышала голос подружки, а в нем – унижение, что паче гордости. Как не скрывала Альбинка, – рада до смерти: нашелся-таки, кто объездил ее! Оттого и бесилась раньше, представлялась стервочкой: мы, мол, и без мужиков, обойдемся! – не надеялась быть счастливою.

«Ох, Альбинушка!»

Не обошлось и без подначки (не была бы сама собой, ведьмочка): «Засим прощевайте-ка! Первой леди Колымы бьет

челом черная крестьянка и раба Ваша по гроб жизни Альбинка Манохина».

«Издевайся, издевайся, Альбиночка».

Рада-то Сахая, рада за товарку, но что самой ей делать? Разве это работа – зарегистрировать и распределить по отделам пяток писем за день? Столько их приходит в районку – кот заплакал. А дальше что – ворон считать? Потому-то и было первым порывом отказаться – лучше простым литсотрудником. Там хоть самой писать можно. Не отказалась – в Мэндэ стали бы пальцами тыкать: «Жена у первого секретаря – гордячка! Должность, вишь, ей мала показалась...» Не в должности дело.

А коли не в должности, – соображай, как быть. Зря, что ли, МГУ окончила? Так-то, голубушка! Давно бы Сахае рассердиться. И не на судьбу – на себя.

Представить не могла, до чего увлекательна «Хроника захолустья» (по-своему окрестила кондовую рубрику «Письма трудящихся», отныне свою епархию), когда затеяла перелистать старые пожелтевшие подшивки! Тут-то, если помните, и всплыл Марк Твен. Что бы он сочинил, попадись ему в руки письмо о бане, в коей с потолка свисают... сосульки, – весь мир скорчился бы от хохота! А чего стоит сюжетец о бульдозеристе К.И. Гаврюшкине, каковой «нализался до порсячьего облика и визга (сколько принял зелья, вспомнить он не мог), а вследствие сего кукарекал ночью на крыше собственного дома?» «Этим, – бесстрастно продолжала замет-

ка, – были введены в заблуждение некоторые соседи, – подумав, что уже утро, побежали на работу». И «хотя было воскресенье, – оговаривается группа подписавших гневное письмо жителей, – это обстоятельство не должно смягчать суровости и беспощадности мер воздействия, кои в полном объеме просим применить к К.И. Гаврюшкину».

Вообще, честно признать, иные заметульки попадались лихие. Чувствовалась живая жизнь. Непричесанность, так сказать. Видно: тот, кто готовил «вопли души» на полосу, сам потешался до чертиков. Интересно, кто это был?

Потом улыбка вдруг исчезла, как не было, – зеленая тощища!

Сахая и не поняла сразу, что произошло... Потом поглядела фамилию редактора. Так и есть: исчезла «А.И. Карзанов», появилась «Н.М. Нефедов». Буквально с первого же номера стиль засох, сморщился. Пошла сплошная жвачка. «Внесла ли в это дело свою лепту Алла Андреевна? Несомненно. Вот почему ее не любят в редакции...»

Отодвинув в сторону очередную подшивку, Сахая продолжала сидеть, уставясь в одну точку. Жизнь выходила куда более сложной, заковыристой, с крутящимися воронками и подводными течениями, чем казалась поначалу. Собственно, так и должно быть. Удивляться тут нечему. И если она вдруг это обнаружила, – не от наивности. На сей счет не дала себе обманываться. Просто не хотела замечать и знать. Ну, еще бы! Куда как удобненько-то: улыбочка – в ответ на улы-

бочку. На все прочее – ноль внимания. Да вот только что оно, «все прочее»-то? Мысль было мелькнула – и нет ее. Мелькнула же. Царапинку оставила. Не могла не оставить.

Что же до улыбочек – и тут не так все просто. Может быть, всего и сложнее. Не то чтобы перед ней явно расшаркивались (ну, как же – «первая леди»! Трудно ли быть в подобных случаях «оригинальным?»), но, чего греха таить, и не совсем чтобы без того. Не совсем... Возлагались надежды и теми, и этими: на чьей стороне прибыль будет. Как ни беспечна, как ни бесхитростна, – почувствовала тягу на разрыв, примагничивание. Разумеется, без очевидного насилия. Выбирать не подумала – жизнь подскажет. И сердце-то для чего?

Пришло неожиданно: «Хватит! Отныне рубрика «Письма трудящихся» будет в газете самой боевой! Самой острой! Самой практически действенной! Самой!.. Самой...» Озарило. Охватило дрожью. Вот она, задача!

Заглянувшая невзначай в комнату Алла Андреевна как бы и опешила, отпрянула: в нее уперся застылый взгляд. Немигающий и невидящий. Точно: ничего не видела Сахая. Мечта рисовалась ее воображению. Какая? Само собой, необыкновенная. «Хватит!»

Проглотив полудоношенную улыбочку, Алла Андреевна уже и оттанцевала на цыпочках вбок.

Когда Сахая очнулась, – никого в дверях не было. Смутное пятно-очертание чьей-то фигуры ей, конечно, показалось. Подумав так, встряхнула головкой, потерла виски и об-

легченно, точно освободившись от непонятной внутренней тяжести, улыбнулась просто т а к. «С этого дня начинается новая жизнь!» – принялась готовить «письма трудящихся».

– Первая проба пера? – улыбаясь неиспользованной, если помните, улыбочкой, Алла Андреевна приняла из рук Сахия тоненькую стопочку «собак»<sup>17</sup>, осторожно положила их перед собою, предварительно отстранив решительным движением большую кипу других материалов. – Поздравляю! Не сомневаюсь, интересно!

– Это не мое. Я только подготовила.

– Все равно. Все равно ваше!

Смущенная и благодарная, Сахия пожала протянутую ей руку. «Какая же она все-таки добрая, милая и чуткая!» Решила: будет любить ее и защищать именно потому, что другие ее не любят и ругают, видят в ней врага. Да, да, да! Будет – вопреки всем. И назло всем.

– Я хотела бы... – О святая простота! Стоило ли говорить, чего «хотела бы»?

– Ну, конечно! Конечно же... – «Тотчас, не откладывая, прочтет, и все будет замечательно! – говорило-лучилось лицо Аллы Андреевны. – Не нужно так переживать, милочка!» Прожурчала вслух: – Сейчас прочту и загляну к вам.

«Какая она лапочка!» Сахия с ужасом почувствовала, что щеки и уши начинают гореть, и выпорхнула-выскочила из

---

<sup>17</sup> 1 «Собака» (жаргон журналистов) – бланк, на котором напечатан текст.

кабинета. Ей было стыдно. Неужели она могла плохо думать о таком необыкновенном человеке? Могла же. А все потому, что, сама того не желая, заразилась чьим-то влиянием. «Какая же я плохая! Дрянь! Дрянь!» Отругав себя, и поделом, долго не умела успокоиться.

Напрасно прождала в страшном волнении до самого вечера: Алла Андреевна не заглянула. Сама напомнить не решилась. Когда же, собравшись домой, как бы промежду прочим сунулась в кабинет ответсека, обнаружила там пустоту. Черная настольная лампа с опущенной, будто свернутой набок шей, не горела.

Новый день начался для Сахאי с вызова к «воеводе».

– Присаживайтесь, пожалуйста, Сахая Захаровна. – Приподнялся в кресле. И любезен мог быть Николай Мефодьевич. И галантен. – Ну, как мы начали свою трудовую деятельность? – Взор благожелательный. Нет в нем иронии или подвоха.

– Только начала ознакамливаться. – Тон предпочла строго официальный. Догадалась, вызов неспроста: и утром не заглянула к ней Алла Андреевна – значит... То и значит, – поторопилась хвалить заранее, теперь неудобно идти на попятную. – Говорить что-нибудь рано.

– Это правильно. – Одобрение было в голосе. Не спеша надел большие роговые очки. – Читал, читал ваши материалы. Говоря без обиняков (произнес слово естественно, без щегольства), – понравилось. Сразу видна рука человека со

специальным образованием. Хорошо! – Как бы и причмокнул.

И опять от стыдобушки – в полымя. Входила-то минуту назад ошестинившись; к другому разговору приготовилась.

– Спасибо... – Камень с души скатился. Иглы опали. Улыбнулась навстречу беззащитно.

– Передайте Алле Андреевне: этот материал в послезавтрашний номер, – протянул Сахае верхнюю «собаку». – А эти...

Все в Сахае обмерло. «Мечты, мечты! Где ваша сладость?» Заныла душа.

– Как молодому работнику, – выдержав продолжительную паузу, – смею и... это мой долг! – дать вам совет: при публикации критических материалов следует быть сугубо осторожным. Су-гу-бо... – печально повторил-продиктовал по слогам. Не то что поучал – делился горько-полынным опытом. Может, почти исповедовался. Только ей – в ее же интересах! – решился он высказать душевную боль, сыпать соль на кровоточащие раны свои. Она поймет! Поймет в отличие от других, кому понять не дано.

Врасплох взял Сахаю «воевода»: сначала усыпил бдительное око ласковым зачином, потом... Сидела как в воду опущенная. Мозги пылали. Язык прилип к гортани.

Почему сугубо? – и теперь не щеголял вчера услышанным и полюбившимся словечком; полагал наиболее точным и уместным в данных обстоятельствах. – Во-первых, есть

опасность обвинить невинного и тем нанести человеку жестокую моральную травму.

Похоже, Николай Мефодьевич приготовился прочитать лекцию по старой памяти, хранящей в сокровенных тайниках его существа тот самый полынный поучительный опыт, приведший его к перемещению по служебной лестнице.

– Во-вторых, даже при наличии вины стоит поразмыслить над тем: кого, когда, в чем и как критиковать и какие последствия может сие иметь? Вы согласны?

Голова невольно дернулась. Вышло: кивнула.

– Хорошо-о! – Не обрадовавшись, так и должно быть, ибо логикой, знал, любого уложит на лопатки, развернул тезис. – Вот, например, одна мать пишет, – взял со стола «собаку», – что молодая девица С. Белочкина, воспитательница детского сада, отвратительно приглядывает за детишками, вследствие чего оные нередко целыми днями ходят с ног до головы мокрые, – снисходительно усмехнулся. – Видимо, сие правда.

– А вы сомневаетесь? Я говорила с несколькими матерями, все возмущены...

– Хорошо, хорошо, пусть так. Я звонил заведующей детсадом. Девица, о коей идет речь, – дочь передового слесаря нашей электростанции, ныне удостоенного ордена Трудового Красного Знамени. Если в газете будет помещена эта заметка, то я весьма сомневаюсь, что райком комсомола даст ей путевку в вуз. Что же вы, милая Сахая Захаровна, хотите, чтобы из-за малыша, которого нежные родители не удосужи-

лись научить справлять... извините, малую нужду, юная девушка лишилась возможности учиться дальше? – Без ехидства спросил. Опять-таки – с печалью. И глядел прозрачно. Глаза за стеклами очков выражали недоумение и обиду.

Не хотела Сахая этого. В голову не могло прийти. Молчала потерянно, как заблудившееся в пустыне и уже не имеющее сил даже скулить, зовя на помощь, дитя.

– Знаю, не хотите. Но... – Речь, пересыпаемая до этого момента старинными словечками вроде «сие», «онные», «каковые» и т. п., обрела современный облик. – А здесь о том, что инструктор райисполкома, – взял вторую «собаку», – недостаточно вежлив с посетителями...

– Не «недостаточно вежлив», а попросту груб...

– Полно-полно. Терентия Федосеевича я хорошо знаю. Допускаю, может быть резковат. В жилетку ему не поплачешься... Тем не менее он – весьма уважаемый человек с солидным руководящим стажем.

– Солидный стаж и прошлые заслуги не дают ему права хамить людям!

– Э-э, Сахая Захаровна, какие вы, однако, горячие!.. Иногда не то что невежливо – криком закричал бы. Не все же... – Если бы продолжил, сказалось бы: «...воспитывались в Царскосельском лицее. Он вот, хотя и не воспитывался, – умеет держать себя в руках, не позволяет распускаться нервишкам. Знал бы кто, чего это ему стоит! А тоже мог бы и голос возвысить, и кулаком пристукнуть по столу... А сама-то, милая,

так ли уж терпима к людям? Не рубишь ли сплеча, а?» Все это невыразимое вместилося в тяжкий протяжный вздох.

Снова не нашлась, что ответить.

– Ладно, вот что: эти материалы пошлите, пожалуйста, «для проверки и принятия мер», соответственно – в детсад и райсовет. Если найдут, что виноваты, – пусть разберутся на месте, без лишнего шума. Не так ли, Сахая Захаровна? – Будто советуясь, погладил словами по головке. Ободрил улыбкою.

Пролепетала что-то нечленораздельно. Вышла – точно вынесли под руки. Не помнила, как очутилась за своим рабочим столом. Растерзанная. Раздавленная. Безъязыкая.

И – вдруг... Слова явились. И какие! Пламенная речь бушевала в ее груди. «Воевода» корчился, съеживался и – «О жалкий демагог! Цицерон районного масштаба!» – на глазах убывал, превращаясь в малюсенького хнычущего карлика с морщинистым личиком старичка. Похоже, он взывал о пощаде – ломал крохотные волосатые ручонки.

Кто не растерялся бы на ее месте? Манохина – та нахамила бы, а потом разревелась, как корова. Элисо – умница, та нашлась бы, как доказать свою правоту. И без какого-нибудь ора. Что же Сахая-то? Сама виновата: в голову не приходило, что ее материалы могут быть отвергнуты. А потому не приходило, что ждала поблажки. «Так тебе и надо! Хорошо, что щелкнули по носу! Не будешь заноситься, милая...» – отчитывала себя Сахая. Но легче почему-то не становилось.

В следующие дни она отправила более двадцати критических писем в различные районные организации. Каждое – в сопровождении записки от имени редакции: чтобы на местах все «внимательно проверили», «приняли срочные меры» и «сообщили».

Прошло более десяти дней – ни одного ответа с места еще не поступило. На телефонные запросы везде отвечали одинаково: «Хорошо, ладно, на днях сообщим».

Также бесполезно прождала еще неделю.

Когда стало невтерпеж, сама отправилась за ответом. Изумилась крайне: обнаружилось, – ни один из руководителей организаций толком не помнил ни о каких запросах редакции. В лучшем случае спохватывались: «Да, действительно, что-то такое было вроде». Или в самом деле не помнили, или делали вид. После начинались поиски самого письма. Обычно выяснялось, что письмо якобы кто-то передал кому-то, а тот куда-то уехал. Иногда письмо самым неожиданным образом обнаруживали тут же на столе, среди прочих бумаг. Письмо прочитывалось, признавалось в принципе правильным, давались обещания через день, ну через два дать обстоятельный официальный ответ. Сахая напоминала известную партийную установку о сроках ответа на сигнал печатного органа. Возражающих, конечно, не находилось: директора, заведующие, начальники, управляющие – все, как один, согласно кивали головами. И все же по глазам было ясно видно, что они хотели, но, к сожалению, не могли просто выпро-

водить за дверь эту назойливую бабу, не только отрывающую их от серьезного дела по пустячному вопросу, но и смеющую разговаривать с ними в резком тоне. «Ах, так? Посмотрим, как запоете!» Коса нашла на камень. На следующий же день Сахая сочинила фельетон о руководителях, наплевательски относящихся к письмам трудящихся.

– Оставьте. Я потом посмотрю, – Николай Мефодьевич и не подумал отрываться от своих бумаг. – Алла Андреевна читала?

– Нет.

Нефедов удивленно вскинул глаза:

– Оставьте.

Вместо того чтобы, как ожидалось, встать и уйти, Сахая решительно села на стул:

– Николай Мефодьевич, хорошо бы, если эта статья пошла в следующий номер. Извините, именно поэтому я поспешила показать ее вам сразу, минуя ответсекретаря.

Лицо «воеводы» побурело: такое поведение сотрудника газеты выходило за рамки. Не пользуется ли она тем, что – жена секретаря райкома? Но, увидев в глазах Сахаи не вызов, а мольбу, вздохнул и придвинул статью к себе.

С трепетом Сахая наблюдала за редактором. Сначала его глаза скользили по строчкам с холодным безразличием; затем, дойдя до описания директора-бюрократа, они явно оживились; на втором эпизоде редактор слегка улыбнулся; на третьем, забывшись, разулыбался вовсю, бормотнул: «Как

вылитый!»

Сахая почти ликовала. Эх наивная душа!

На предпоследней странице улыбка «воеводы» увяла: натолкнулся на колючие фразы. Схватился было за карандаш, но править при авторе не стал.

«Умный редактор находит у статьи глаза и выкалывает их!» – вспомнилась гулявшая на факультете поговорка.

– Да-а... – взгляд Николая Мефодьевича вильнул мимо Сахай. – Нда-с... Сомнительно...

– Что вас смущает? – Нет, больше она не будет сюсюкать, дожидаясь милостивой улыбки. – Все, что здесь написано, – чистая правда! Я отвечаю лично за каждую запятую в своей статье!

– Ах, Сахая Захаровна! Почему вы никак не хотите понять меня? Ну почему? – Не хватало только, чтобы прибавил «голубушка» или «мы же с вами умные люди, не так ли?»! На сей раз не увел взгляд в сторону. Смотрел на нее с состраданием.

Сказала бы: «Ошибаетесь, я слишком хорошо вас понимаю!» – уничижительным тоном с саркастической усмешкой. Вслух же произнесла спокойно:

– Я понимаю вас.

«Воевода» не обрадовался. «Понимала бы, не несла на стол редактора плоды скороспелого сочинительства! Э-эх, молодо-зелено! Разве не внушал, что из фактов, самых неправдивых, следует выбирать лишь те, которые могут при-

нести наибольшую пользу и помощь в работе районной партийной организации?»

Сахая безошибочно прочитала мысли редактора, ждала соответствующего вопроса. Он и последовал:

– Разве я не прав?

На этот случай и был приготовлен «козырь», какой выложила на стол перед редактором, – недавний номер «Правды».

– Вот тут о подобных случаях сказано совершенно ясно и точно. И называются люди, сидящие на должностях куда выше наших: министры, начальники главков, директора заводов, секретари обкомов. Надо полагать, они так же уважаемы, не меньше наших.

– Читал, читал... Но поймите сами, Сахая Захаровна: там – «Правда», тут – мы, «Коммунист Севера». Не думаете, что есть небольшая, – усмехнулся, – но все-таки разница?

– Но я также думаю, что и у «Правды», и у «Коммуниста Севера» принцип отношения к письмам трудящихся должен быть одинаков. А вы думаете иначе, Николай Мефодьевич?

Иначе Николай Мефодьевич, конечно, не думал. «Девчонка! Ловко она меня...» Уткнувшись в бумаги, буркнул:

– Оставьте. Посоветуемся.

– Ну, хотуй<sup>18</sup>, ты, оказывается, молодчина! Давненько мы ничего подобного не печатали. Ну, быть большой заварухе. Готовься к бою, будет схватка!

---

<sup>18 1</sup> Хотуй – приятельское обращение к молодой женщине.

Ничего такого, что предрекал радостно возбужденный Егор Федорович Соколов, старший корреспондент, не произошло. Если что и было, – в верхах. Но кому же о том известно?

Дома, по негласному договору, Мэндэ и Сахая избегали разговоров о работе.

На этот раз Мэндэ нарушил правило. Поздно вернувшись после бюро, опираясь затылком об стену, негромко спросил, не разнимая смеженных век:

– Твоя, матушка, статья?

– Что, плохая?

– Хороша! Не в бровь, а в глаз!

– Она же – редакционная.

– И редакционную пишет все же кто-то персонально...

## Глава 6

Всадники успели выскользнуть-проскочить в последний момент— горы вслед за ними с негромким стуком сомкнулись.

Так показалось бы случайному наблюдателю, окажись он неподалеку и держи в поле зрения узкую, петлявшую по столь же узкой лощине тропу.

Всадники же не заметили грозившей им опасности, хотя по пути время от времени и настигало тревожное ощущение, особенно когда тропа истончалась в нить и гранитные глыбы нависали сверху, так что приходилось пригибаться. Поэтому они и пришпоривали лошадей, спеша вырваться из каменного мешка, из безотчетно пугающего болотисто-фиолетового, с рыжеватым оттенком, точно подводного, сумрака на брезжущую вдали ослепительно белую звездочку — там выход. И теперь, выбравшись на вольный простор, дышали всей грудью, отдавшись неизъяснимой радости зрения: с крутосклонов покрытый свежей зеленью осторожно спускался помолодевший заматерелый сосняк, ниже, в широченных глубоких падях, переливался светоносными стволами березняк. Не хватало птицы, отметившей бы поднебесную, шатром раскинувшуюся высь... Но и она — кто ты? — появилась едва различимой точкой.

Диво-то какое! Воля вольная! Чего ж еще человеку надоб-

но?

Кто были эти путники? Тит Черканов и Платон Лось. Первый – секретарь парткома совхоза «Аартык»; второй – председатель исполкома Тэнкелинского района. Не на прогулку выехали. Не нечистая сила завела их, блазня сказочной красотою, в это опасное до жути и дико чудесное до невероятия место. Не было у них и охотничьих ружей – не ради запретной забавы, стало быть.

Впрочем, тайны никакой – заурядное знакомство нового начальства с делом и кадрами-людьми, которыми ему досталось на сей раз руководить. Само собой, учесть ошибки, промашки, недогляд и прочее в горьковатом опыте дня вчерашнего и с богом двинуться на призыв вершин будущего. Возглавить это могучее и бесповоротное движение и был назначен Платон Остапович. Тит Турунтаевич в данном случае – проводник с правом совещательного голоса.

Величественная панорама развернувшегося вдруг перед ним пространства-мира, вошедшего в пору летнего буйства, захватила Лося кроме чувственной красоты и по другой, вполне осознаваемой причине: вот оно – поле битвы! И какое «поле»: размещай на нем иное не самое маленькое европейское государство, еще и для другого место останется! Такой вот район.

Чувство законной гордости владело им. Владело вполне естественно. Было бы странно, если не так.

Черканов понимал состояние «хозяина». Даже косым

взглядом, пусть бы и ласково-одобрительным, не отвлекал его, не мешал тешить душу парящую и, чувствовал, с каждой минутой все больше влюбляющуюся в новый край. Так и было.

Сам Лось, поклевывая носом, уже точно знал: он – другой. Не тот, что когда-то, в прежней жизни, и даже неделю назад, до прибытия в «Аартык». С ним и в нем произошло какое-то ошеломляющее преобразование. Мож- но сказать, переворот, когда он стал видеть и понимать раньше незамечаемое и непонимаемое. Не было нужды? Скорее всего и так.

А случилось это нынешней ночью. Провел ее не сомкнув глаз. (Кстати, потому теперь-то и «поклевывал носом». Факт – без какой-нибудь иронии.) Бессонницу ему устроило как будто нарочно взбесившееся комарье: дождалось свежего человека и, кровопийцы, ринулось всем воинством. Впрочем, сам виноват: никто не понуждал Лося среди ночи оказаться под чистым небом; он же и уговорил-уломал Черканова пренебречь пуховиками и как истинные мужчины, сев на конь, встретить восход солнца – а может, новую жизнь и судьбу! – в седле.

Комары! Что комары?! Спасибо им: сидя на скале, где напрасно пытались найти спасение (Черканов-то спал хоть бы хны), передумал столько, что – о-е-ей! Когда бы еще выдалась такая возможность? Да никогда! Суть же дела заключалась вот в чем: совхоз «Аартык» представил в район перспективный план развития на следующую пятилетку. Кэре-

мясов, секретарь райкома и, между прочим, уроженец этих мест, принял наметки заинтересованно. Да что там говорить, одобрил целиком и полностью. На предварительном обсуждении он, Лось, не выступил решительно против, хотя, по правде, сомнения возникли. И сильные. Оно, конечно, идея резко увеличить поголовье скота, а значит, производство мяса-молока достойна всяческой похвалы. Но... план – не пустая мечта! Имеются ли реальные возможности? Именно здесь, в узкой долине, зажатой со всех сторон каменными громадами? Коровы и лошади, которых собирались держать тут, мечтой и бумагой сыты не будут. Им нужны богатые пастбища! А где они? «Есть! Да есть же!» – божились, стучали себя в грудь совхозовцы. Выкатывали глаза, с пеной У рта и почти со слезами вопили, что встарь «там жили», «скот разводили»! Ну, может, и «жили» – влачили жалкое существование; может, и «разводили» – держали жалкий десяток худых коровенок, подбривая лужки да мари на сено... Но сейчас-то разговор об организации крупного отделения с тысячными стадами и табунами!.. Конечно, понятно (и простительно!), что для любого человека родные места кажутся раем. А ему разве не сказкой вспоминается милое сердцу Полесье! Эх! Хотя реальное-то, что греха таить, оно – «ох» и «ах»! Так думал Платон Остапович прошлой зимой. Иначе мыслил прошедшей ночью, паля костеришко и отбиваясь от бешеных атак окончательно взбесившихся и осатаневших крылатых мучителей.

То-то, что переворотило! Новая вера родилась в его груди! Нахлынувшие впечатления, и верил и не верил собственным глазам, потрясли его. Решил верить.

И самое невероятное чудо, снявшее и освободившее, между прочим, его мозг и душу от подозрений и разных сомнений, заключалось в том, что он видел: среди невообразимого хаоса и мешанины гор, которые, сойдясь когда-то в смертельной схватке, вытесняли друг друга с земли под самое поднебесье, оказывается, притаилось неисчислимое множество ручьев и марей, полян и аласов, лощин и лугов! Судя по ветхим останкам изгородей и провалившихся срубов, тут когда-то с разудалой песней вольготно гуляла коса. Когда-то... Что стряслось потом, в давние или совсем близкие времена, – бывшие царские угодья сплошь заросли сорной травой, покрылись гнилыми кочками, затянулись болотинами?

Но план-то перспективный! Оттого и выиграло ретивое: уже представлял воочию, как здесь (разумеется, сначала придется навести прежний порядок; а ради того не поскупиться на весьма солидные капиталовложения) замычат коровы, загогочут племенные жеребцы, закурятся и завьются веселыми спиралями дымки над домами, в каких поселятся счастливые пастухи и табунщики. Не беда, что вопрос об организации в Тэнкелинском районе крупной лугомелиоративной станции обсуждается в Совете Министров республики вот уже третий год – теперь он тоже имеет право ударить себя в грудь!..

Внезапно впереди что-то взорвалось. Заслоняя восходящее солнце и само небо, взвилось вверх что-то черное и огромное. Одновременно с оглушительным громом слепая молния ударила в лицо Лося. Не успев сообразить, что могучий предательский удар – воздушная волна, ошеломленный Лось с невольно вырвавшимся воплем полетел на землю. Вернее, прямо на камни.

– А-ай!

Конь, в течение двух дней прошагавший с тяжелой ношей то по чавкавшей жиже болот, то по запутанному валежнику, то по зыбучим пескам, то по острым обломкам скал и почти выбившийся из сил, испугался не меньше своего седока. Громко храпя, раздувая ноздри, рвя повод, намотанный на руку хозяина, бился и, вздымаясь на дыбы, молотил копытами воздух.

Лось уже встал и почти успокоил дрожащего коня, когда вернулся назад Черканов.

– Чего кричали? – спросил и поглядел в лицо спутника. – Э-э, да у вас на щеке кровь! Упали?

Не отвечая, Лось приложил носовой платок к саднящей щеке.

Черканов пошарил вокруг в траве и протянул раненому несколько каких-то листьев:

– Натё, приложите к ссадине. Быстро затянет. А что случилось-то?

– Да так... – Не зная, как объяснить, Платон Остапович с беспомощным видом развел руками. – Конь вдруг взыграл...

– С чего это он?

– Вдруг впереди нас что-то вроде взорвалось... такое черное, огромное...

– Да ну?!

Платон Остапович только теперь почувствовал, что весь облит потом. Рубашка плотно прилипла к спине. С напускным безразличным видом деланно засмеялся:

– Черт его знает, что это такое!

– Черт, конечно, не знает, да мы сами с усами! Сейчас узнаем. Если мы верим, что ни бога, ни черта нет, – значит, тот некто должен быть или зверь, или птица, – принялся внимательно оглядываться кругом, перебегая взглядом с предмета на предмет. – А-а, вот и оно, неведомое чудище! Вон сидит ваше «что-то черное, огромное»... Действительно, громаднейший глухарь! Когда я проезжал, он, видимо, спал. Ишь, и он нами заинтересовался – вон как старательно высматривает, даже шею выворачивает! «Что за чертоломы свалились на мою голову?» – ругается он, похоже.

Присмотревшись, Лось тоже увидел гигантскую черно-фиолетовую с переливом птицу, вцепившуюся толстыми, в роговых наростах пальцами в сук большой лиственницы неподалеку от места, где они сейчас стояли.

– Всего-то от глухаря мы с конем так перетрухнули, что у обоих чуть душа напрочь не отлетела, – усмехнулся Лось.

– Это не от трусости, просто от неожиданности. Взлетает он и правда как взрывается. Особенно здорово это получается у него в сумерках. Черт сейчас сгинул, и даже в самой дикой, самой безлюдной тайге бояться некого. Обычно любят сочинять разные небылицы и ужасы про медведей да про волков, но это враки! Звери лесные никогда первыми не трогают человека. Оголодавший «хозяин» или волк попадают очень и очень редко, от силы раз в десять – двадцать лет. Человек сам преследует и уничтожает их. Если зверя подранишь или сдуру примешься убивать его детенышей, тогда уж – чего ж удивительного? – кто не превратится... – не успев закончить популярную лекцию, которую, однако, Лось слушал с юным вниманием, ибо известное в устах этого все больше нравившегося ему человека звучало с той настоящей искренностью и правдивостью, о чем, не догадываясь, он сильно истосковался. Черканов вдруг схватился за шею и вскинул голову вверх – Эй, кто там балуется? Кто нашвырял за воротник корья?

– Белка-проказница! – подсказал, рассмеявшись, Лось.

– Хватит! Тебе сказано? – как на несмышленного шалуна, нарочито строго прикрикнул Черканов.

Непослушная белка метнула в ответ целую пригоршню.

– А-а, показываешь норы? Вот я тебя, неслуха такого! – Черканов поднял сучок и замахнулся.

Рыжий хвост прыгнул и спарусил на ближнюю лиственницу.

– Давай заодно напоим-ка коней, – Черканов уже спускался к ручью, протекавшему по другой стороне лощины под крутой сопкой.

Когда Платон Осипович наклонился над маленькой заводью, толпившиеся у самого берега темно-синие юркие рыбешки прыснули веером в разные стороны. С протянутой рукою он свалился бы в воду, – не подхвати и не удержи его вовремя спутник.

– Что это с вами, а? В полной одежде и захотелось искупаться?

– Хотел достать вон тот голубой камешек!

– До камешка нырять надо. Тут глубоко: наберется близко к сажени.

– А видится, словно совсем близко.

– Это оттого, что вода тут чистая. Никто ее не мутит, вот она и такая – светлая. Давай напьемся и мы.

Лось припал губами к ручью. Он пил и пил. Остановиться было невозможно.

– Не уподобьтесь Чурумчуку<sup>19</sup>, который выпил целое море! Хотя немного оставьте для зверья и птиц. Им тоже надо испить водицы! – пыхая сигаретой, рассмеялся Черканов.

– У Лося заломило зубы.

– Уж так и быть: немного оставлю.

Ломоту в костях и сонливость словно рукой сняло.

Вот она – чудотворная живая вода старинных сказаний

---

<sup>19 1</sup> Чурумчук – герой якутской сказки.

и легенд! Струится, журчит, позвякивает и позванивает по мелкой гремучей гальке! Вглядишься в глубь, жди терпеливо и несуетно, – и прозришь в светловодье события седой древности, что в «олонхо» только и остались, как будто затаились, притворись сказкой-небылью. Ан нет! Жди! Жди – может быть, и тебе откроются. Ну, не в этот раз – так в другой.

Знал бы Лось, что в эту минуту он наверняка испытывал то же, что испытывал великий безымянный, имя, некогда знаменитое, нынче поглотила бесконечная и бездонная река времени, когда, проведя день-деньской в жаркой погоне за быстроногим оленем, иссохший от жажды, доплетясь полумертвый, почти без сознания до этой воды, припадал к ее плескучей влаге и долго, бесконечно долго пил и вставал, заново рожденный... Может, и знал.

Отдохнувшие на коротком привале кони бежали спорой рысцой. Прохладный ветер, дувший навстречу, прибавил самую малость и уже дул ровно.

З-пад а-адн-эй га-ары-ы вецер ве-е,

З-пад дру-у-гой га-ары-ы падвя-ва-ае... –

неожиданно и для самого себя завел старинную белорусскую песню Платон Остапович. И удивился. И прислушался к эху, вернувшему его, но как бы и чужой, голос.

Черканов ехал молча, опустив голову. Но по напряженной спине и по всей посадке было ясно: слушает и, несомненно, одобряет.

Как-то незаметно подкравшиеся было плотные тяжелые

облака, почти касаясь остроконечных скал, древними пиками устремленных в небо, начали вдруг распадаться, разбегаться и истаявать; высокий купол стал наливаться сияющей лазурью.

З-пад дру-угой га-ары-ы падвя-ва-ае...

Да цемна хма-ар-ка высту-па-ае...

Умный конь, чуя, что сейчас всадник не станет понукать его, перешел на неспешный нетряский шаг.

Да цемна хма-ар-ка высту-па-ае...

Да дробны дожд-жык у-ули-ва-ае...

Платону Остаповичу представилось: плавно покачиваясь на тихой волне, плывет он на плоту. Широкое лоно Припяти подернуто тускло мерцающей позолотой. Вдоль невысокого берега, как на параде, выстроились могучие развесистые дубы. За ними расстилалась насколько хватит глаз, – расцвеченная бушующим разнотравьем пойма. А там... то появляется, то исчезает среди зеленых волн головенка цвета спелого жита. Это он! Еще малыш, лет пяти или много-много шести. Носится ошалело по лугу с ревом в безуспешной попытке поймать увертливую бабочку с радужными крылышками... Как так: и тут, и там – он? Не понять. Лучше и не пытаться...

– Ой! – грезивший наяву всадник испуганно вскрикнул и схватился за поводья. Конь, давно предоставленный самому себе, вдруг остановился, натолкнувшись грудью на круп своего сотоварища, стоящего теперь поперек дороги. – Что

случилось?

– Тише... – наклоняясь с седла, шепнул ему Черканов. – Посмотри-ка сюда...

Резко очерченный на фоне ясного неба лучами солнца, уже начавшего склоняться к западу, на самой вершине одного из отрогов горного кряжа, на самом краю гребнистой скалы, нависшей над пропастью, стоял непередаваемо прекрасный зверь.

– Видишь, да? Горный олень...

Невесомо касаясь точеными ногами каменной осыпи, олень гордо поднял вверх голову, отягощенную затейливого рисунка рогами, и чутко внимал шуму вечного неба.

«До чего же прекрасно божествен!.. Точь-в-точь Солнечный олень из сказки! – подумал Лось в восхищении. – А поза чего стоит: весь он – сама чуткость. Все в нем – сама грация. Как же гениальна мать-природа, что может создавать такое совершенство, такую не выразимую словом красу!»

– Учужал... Сейчас исчезнет... Подставьте ладонь!

Олень вздрогнул, в неуследимо быстром и высоком прыжке перелетел на соседнюю скалу и, сверкая гладкой блестящей шкурой на хребтине, понесся стремительными прыжками по краю ущелья.

Черканов взглянул на подставленную ладонь и в полушутку, в полусерьез с огорченным видом тихо воскликнул:

– Так и знал: пуста...

– А чего вы ждали?

– Счастья...

– Разве счастье капает с неба? – засмеялся Лось. – И нужно только подставить ладонь?

– К некоторым оно приходит само...

– И что это за убогое счастье, вымоленное как подачка нищему в подставленную ладонь!

– Я даже от такого не отказался бы...

– Не надо ждать от кого-то подачи. Счастье надо завоевать самому! Будет человек счастливым или нет, зависит только от него самого. Я правильно говорю?

– Даже сверхправильно. О том, что свое счастье каждый человек кует сам, и я могу ораторствовать несколько не хуже вас.

– А зачем тогда подставлять ладонь?

Черканов промолчал, да и Лось, почему-то смутившись, не стал настаивать на ответе.

Проехав некоторое время молча, Черканов попридержал своего коня и поехал уже вровень со спутником.

– В этих краях живет такая легенда. Когда бежит Солнечный или там Золотой олень, ну, в общем, волшебный, у него из-под копыт вроде бы высекаются, разбрызгиваются и падают дождем золотые искры. И если из этого золотого дождя кому-либо удастся поймать в раскрытую ладонь хоть одну-единственную маленькую искорку, тот будет весь свой век счастливым сполна. Очень похоже, что не моей дырявой ладони дожидаться такого дорогого гостя. Да пусть я и не бу-

ду удостоен подобного подарка, обойдусь и без этого. Не так ли, Платон Остапович? – повернулся к спутнику и, словно давая понять, что шутит, грустно улыбнулся; опять выехал вперед, и опять впереди замаячила его спина. Только теперь Лось обратил внимание на ее худобу и выпирающие лопатки.

Хотелось сказать что-то ободряющее. Но что именно говорится в таких случаях, – Лось не нашелся.

Ручей, постепенно сбегая вниз, влился в речку, прорубившую себе проход через скалистую гряду гор и устремившуюся прямо на восход солнца. По обоим берегам ее простиралась луговина шириной не меньше версты.

Сойдя со старинного проселка, поехали по самому подножию горы, по еле заметной тропке, замеченной старым пожухлым разнотравьем.

– А это что такое?! – удивленно воскликнул Черканов, миновав перелесок.

– А что такое? – Лось непонимающе огляделся.

– Смотрите туда! Вон туда! – показал Черканов в глубь открывшейся долины. – Вон, во-он!

– Вы же хозяин этой земли, вам и знать. Это я могу спросить у вас, местного.

– Я и сам не знаю!

– Что это такое в самом деле?

Объехав огромную и высокую кучу из земли, песка, камней и дерна с трудом, чуть не завязли кони, преодолев довольно широкую полосу голой земли, остановились на бере-

гу реки.

– Когда это они успели тут все выстроить?! – Черканов в полном недоумении осматривал громоздкий, с двухэтажный дом, целиком смонтированный промывочный прибор, большой дизельный электромотор, несколько дощатых сараев и штабель бочек с топливом. В его возгласе были и удивление, и восхищение, и неодобрение, и даже злость. – Все готово, хоть сейчас начинать мыть золото!

– У вас, у совхоза, они брали разрешение начинать тут работу?

– Ничего подобного. Был просто разговор, и то полуофициальный, что добычу золота можно будет начать в предстоящей пятилетке, после детальной разведки и точного определения запасов, с конкретным учетом перспектив развития совхоза. Кому, как не вам, в райсовете, все знать – ведь все идет через вас? Небось спрашивали у вас...

– Поверьте, нет! Странно... – Было отчего обескуражиться. Было отчего и возмутиться.

– Смонтировано же совершенно недавно. Может, и люди есть тут? – Поворачиваясь во все стороны, Черканов принялся кричать во все горло: – Эге-ге-гей!.. Ого-го-гой!..

Кругом царила немая тишина. Лишь спустя некоторое время, отразившись от отвесных скал по обоим берегам, крик Черканова вернулся звенящим эхом.

– Платон Остапович, что это значит? Не то ли самое, что на нашем Джэнкире добыча золота уже началась?

– Нет, нет! – решительно возразил Лось. – Такого постановления не было.

– Постановление может быть вынесено и задним числом. Написать его – недолго, – Черканов слез с лошади, обошел промприбор, словно не веря своим глазам, то тут, то там обшупал, обстучал подобранным здесь же камнем, – Ничего не скажешь, сделано все на совесть, капитально. Как же это понять? Ведь была же у нас договоренность, что, если выявится тут богатое содержание металла, будем работать в тесном содружестве, сообразуя интересы и совхоза, и комбината. Где основать поселок совхозного участка, где поставить центр прииска – должны были решить также сообща. А на самом деле получается, что нас вовсе и в расчет не берут? – Цокнул языком, натянул картуз низко на лоб, молча постоял, потеревил затылок и стал толкать плечом деревянную стойку промприбора, как будто пробуя на прочность установку.

Положение Платона Остаповича выходило преглупейшее. Да и понимал он в этом деле, сказать честно, не то чтобы вовсе ничего, но маловато.

– Тит Турунтаевич, не надо так волноваться. – Чем меньше понимания, тем больше сострадания: глядеть же на Черканова – сердце кровью обливалось. – Видимо, ведут разведку, чтобы точно определить размеры запаса. – Попытался утешить, мобилизовав все свои познания о процессе добычи золота.

– Разведку ведут по-иному. Тут – другое! Ясно же, настро-

ились на прямую промывку. Это видно даже простым глазом. Бульдозера где-то небось спрятали в лесу. Если начнут так, по-воровски, засылать сюда случайные бригады рвачей и добывать, нам никакой помощи ввек не дожидаться. И все окрест порушат подчистую, камня на камне не оставят. Этим старателям нужно только золотишко! Плевать они хотели на охрану природы! Пле-вать! – Черканов захохотал яростно, как помешанный, устремил горящий взор на Лося. – Не говорите, не говорите, – точно отбиваясь, замахал руками, хотя тот не собирался ничего говорить. Тем более что он мог сказать? – Бережное отношение, рекультивация – пустые слова! В гробу они видели все это! После них, как после саранчи, даже в тысячу раз хуже, остается голая, мертвая земля!.. – Кажется, и выдохся от неожиданного бурного порыва. Закончил хриплым шепотом. Вовсе не для подавленного и совсем растерянного Платона Остаповича – Неужели и наш Джэнкир обречен на подобную злосчастную долю?!

Лось вполне разделял тревогу и боль человека, так преданно любящего свою землю. Более того, негодовал вместе с ним. Но потому-то как представитель районной власти и обязан был сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям.

– Что вы, не надо так говорить, – точно отмеривая разволновавшемуся больному в рюмку валериановые капли, произнес мягким голосом. Затем прибавил слегка железа: – Существуют государственные законы, правительственные постановления. Никому не позволено безнаказанно нарушать их.

– Уж чересчур вы уверены в силе своих постановлений, – слабая больная улыбка скользнула по вялым, уставшим губам Черканова.

– Как же не верить? – удивился Лось. Обижаться на перенесшего на его руках кризис и не подумал. – На то и постановление, чтобы выполняли. И... выполняют, голубчики! Если не захотят добровольно, то – заставим! – Глаза его стали жесткими, непримиримыми. Смягчились, обращенные к «пациенту» – Будьте уверены и не волнуйтесь.

– Что ж, вашими устами, Платон Остапович, мед пить! Придется поверить, – то ли и точно, поверив, то ли сделав вид, Черканов подошел к своей лошади. – Куда мы сейчас поедем? Не двинуть ли напрямик к старику Дархану? Это всего километров пять-шесть. Пораньше приехать и...

– Зачем? Где-то поблизости должен быть ваш знаменитый алас. Как он называется?

– «Балыктаах», что значит «рыбное». До него не так-то близко. А теперь... какой толк туда ехать?

– А что случилось?

– Сами же видели... Мы с вами намеревались все посмотреть прямо на месте и решить, а тут, не дожидаясь, некие все уже решили давно и бесповоротно. Чего теперь осматривать...

– Не надо паниковать раньше времени, Тит Турунтаевич. Я же говорил: закон есть закон, постановление есть постановление.

Дальше поехали в тягостном невеселом молчании, без разговоров и песен. Впереди по-прежнему ссутулившийся в седле Черканов. Проехав довольно долго вдоль долины, по большому распадку свернули резко на север.

Скоро прямо перед ними отвесной стеной выросла громадная гора, точно разрисованная от высоченной вершины до самого подножия кроваво-красными полосами.

– Кровавая гора, – подъехал Черканов, заметив, что Лось с интересом разглядывает эти необычные знаки. – Я сам не видел, но слышал, что иногда с верха горы тут бежит кроваво-красная жидкость. Вот и образовались эти «ручьи». В народе говорят: «Плачет кровью». Есть поверье, что это случается перед великой бедой. В старину этому придавали огромное значение, при встрече тайком осведомлялись: «Как-то нынче Кровавая гора?» Видимо, тут есть залежи натуральной красной охры. – Черканов взгляделся в склон горы и громко воскликнул – Ба, да там вроде действительно капает! – но сразу умолк и толкнул лошадь. – Не, мне показалось...

Распадок пошел вширь и раздвоился, охватывая гору с обеих сторон.

Черканов неожиданно круто осадил коня.

– Посмотрите-ка, – кивнул в сторону редкого лиственничника, не особенно далеко от тропы. – Ваши тезки.

– Что?!

– Лоси же. «Сохатые» по-здешнему. Во-он стоят. Трое.

Только тут Лось рассмотрел в тени деревьев трех неподобно громадных зверей. Отбиваясь от комарья, они мотали головами, хлопали большими ушами.

– Пусть стоят. Давайте-ка мы пообедем их. И той тропой выберемся к аласу. Будет чуть подальше, да ничего.

Обогнув громаду горы, выехали опять на ровный продолговатый дол.

– Это и есть Балыктаах?

– Пахай<sup>20</sup>, разве это алас? Толоон<sup>21</sup> же простой! – возмущенно сказал Черканов, будто обиженный. – Балыктаах – это! Представьте... – Не найдя нужных и достойных слов, умолк. – В общем, в ближней округе не найдется второго такого заповедного места! – и подхлестнул коня.

Лощина быстро сошла на нет, и путники съехали вниз в глубокую и широкую падь, наполненную прохладными сумерками. На дне пади когда-то был водоем, давным-давно высохший; и тут густо пахло гнилой сыростью. По всей пади, заслоня почти непроницаемой стеной солнце и небо, мрачно толпились угрюмые ели. Даже кони, на что, казалось, безразличные к окружающему пейзажу, и те шли понурившись.

Лось, облегченно вздохнул, лишь когда миновали гиблое место. Кругом снова простирался светлый мир, вольный дол, чистая земля. Горы пошли в плавный изгиб, будто расступаясь.

---

<sup>20 1</sup> Пахай – междометие, выражающее презрение, отвращение.

<sup>21 2</sup> Толоон – поляна, заросшая болотной травой, кустами, кочкарником.

– Вот и наш Балыктаах! – торжественно, с воодушевлением объявил Черканов.

Проехали еще немного, и перед ними во всем великолепии раскрылся дольный алас, окаймленный густыми дубравами, противоположная сторона его терялась в зыбкой игре полутеней ускользающего горизонта.

И впрямь, видевший, казалось, все главные чудеса, необыкновеннее быть не может, такого Лось не мог и ожидать.

– Ну как?

– Да-а... – только и сказалось. – Да-а... – Все выражающие изумление и восторг слова были истрачены – и не жалко. Для этого слова не было. Могло ли оно быть?

Черканов прервал-прекратил мучения Лося, томящегося немотой, будничным:

– Время уже к третьей дойке. Пожалуй, стоит сделать тут привал. Во-он там хотя бы...

Остановились на невысоком пригорке с восточной стороны. Расседлали коней, пустили пастись по-вольному.

– Я схожу за водой, а вы запалите костерчик вон на том старом огнище... – Не замечая того, Черканов обращался к Платону Остаповичу то на «ты», то на «вы». Не замечал этого и Лось.

В поисках сушины Лось направился к опушке леса. Набрел на смутные очертания провалившейся ямы старинного погребя. Несложно было догадаться, что погреб был весьма

обширен. Судя по остаткам бревен да столбов, проживал тут явно не несводящий концы с концами бедняк, – вон сколько кругом было построек!

Вернувшись с охапкой сучья, застал Черканова за непонятным занятием: тот старательно выуживал что-то из ведерка прутиком.

– Что вы делаете, Тит Турунтаевич?

– Э-ж, выуживаю молодь– черпанулась вместе с водой. Нам нужна не уха, а просто походный чай.

– Интересно, чей это этох?<sup>22</sup> – спросил Лось.

– Не знаю. Я не здешний, олекминец<sup>23</sup>. Во-он, на той стороне, тоже видны многочисленные следы жилья. При добрых хозяевах и при стадах, хорошо ухоженная, земля эта в свое время наверняка была славной кормилицей, родимой матушкой. А сейчас тут жизнь исчезла, земля захирела, все быльем да сорной травой поросло. Земля человеком жива. Им поддерживается в добром здравии. Им же улучшается. – Опять Черканов говорил известное, и опять Лось слушал его, удивляясь новизне, казалось бы, старых слов. – Исчезнет человек, и земля тут же начинает портиться. И в конце концов окончательно погибает. С тех пор как большинство людей скопилось в совхозных центрах, этот необратимый процесс, охвативший здешние окраинные земли, наблюдается даже в центральных районах республики. – Черканов присел

---

<sup>22</sup> <sup>1</sup> Этох – старая усадьба, заброшенное жилище.

<sup>23</sup> <sup>2</sup> Олекма – район на юге Якутии.

было на обрубок бревна, валявшийся рядом, но вдруг вско-  
чил, точно ужаленный.

– Что с тобой? – встревожился Лось.

– Думал, бревно, а это, оказывается, сэргэ<sup>24</sup>.

– И чего в этом страшного?

– Страшного, конечно, нет... Но садиться на сэргэ – это уж слишком. Пусть она и затрухлявела, и обломалась. Сэргэ есть сэргэ. Это не для сидения. Да вы этого и не поймете. У белорусов сэргэ ведь не бывает? Если даже и есть, то совершенно в другом духе, наверное.

– А что, ваша сэргэ имеет «иччи», духа-хозяина? – Лось усмехнулся.

– «Иччи», дух-хозяин! – неприязненно повторил Черканов. – Вы, кажется, хотите сказать, что я, коммунист, верю в чертей и разных там духов? Думайте, говорите – я не против. Но мне сильно не по нраву те современные парни, которым все трын-трава, все «до лампочки», невоздержанные на язык до матерщины, грубые и черствые, у кого ничего святого за душой. Мне не верится, что из таких шалопутов может выйти хороший, просто добропорядочный человек. А вы верите, Платон Остапович?

– Остепенятся со временем.

– Иные, дай-то бог, остепенятся, но насчет других – весьма сомнительно... Вот мы бьем себя в грудь, бахвалясь, что ни в бога, ни в духов не верим, но мне вот иногда очень хо-

---

<sup>24</sup> <sup>1</sup> Сэргэ – коновязь (столб). Символ жилища и благополучия.

чется, чтобы и впрямь существовало нечто подобное. Наши предки встарь жили, прячась по захолустьям и осваивая вот такие аласы, семьи заводили, потомство плодили, скот держали – жили всяко: и в радости и горе, в сытости и голоде, с песнями и плачем. И подумать страшно, что от них остаются лишь вон те трухлявые деревяшки... Как они могут так совершенно бесследно исчезнуть?.. Нет, кэбис<sup>25</sup>, мне хочется думать, и никто мне этого не запретит, что дух, душа, мысли и чувства людей, живших тут некогда встарь, каким-то образом находятся здесь – перешли, впитались, воплотились, как хотите, в эту землю, вон в те пни, в это самое сэргэ... Старая пословица: «Старинное жильё – не без пней, заброшенное стойбище – не без завета» – родилась отнюдь не случайно. Что, не туда клоню и не те слова – для партийного секретаря, а?

– Вообще-то вы правы. Но лучше, когда память о живших остается не в виде трухлявых столбов, а в сути вечных благородных дел.

– Совершенно верно. Вот за это я голосую обеими руками. Я хотел только...

– Великолепные места... – давно уже перестав слышать, о чем и как рассуждал его спутник, Платон Остапович слушал и любовался сумерками. Губы прошептали сами – Богатая земля...

– В подземных кладовых нашего края всего вдосталь...

---

<sup>25</sup> <sup>1</sup> Кэбис – междометие: брось, нельзя, да ну!

– Не о том я, не о том... – печально уронил Лось. Проговорил, пожалуй, со скрытым сожалением, укоризною и особенно затаенной безнадежностью, что вообще когда-нибудь будет понят. – Не о том...

– О чем же? – страстно проговоривший на ветер свой монолог, удивился Черканов.

– Не о подземных кладях, а о наземных, так сказать, богатствах. Я говорю о царстве пернатых, о племени четвероногих. Я говорю о растительном мире – вообще о природе.

Не то чтобы не ожидал такого в принципе, но в этот момент Тит Турунтаевич был застигнут врасплох словами Платона Остаповича: он ведь только что говорил о «сути вечных благородных дел». Связи между тем и этим Черканов уловить никак не мог. Хотя почему бы и нет? Наверное, забыл «то», а к «этому» душевному излиянию располагало все остальное, что существует без слов.

Лось не сказал еще самого заветного:

– К сожалению, таких мест на планете осталось очень мало. Надо это богатство всемерно беречь. И не просто сохранить, а приумножить, чтобы в целости и сохранности передать следующим поколениям, которые будут умнее нас и поновому, с дальним прицелом распорядятся всеми богатствами матушки-земли. – Закончил на одном дыхании. Руки упали в бессилье. Стоял растроганный и немного даже растерянный: не ожидал от себя такого лирического всплеска, такой бури чувства. Право, не ожидал.

В этот миг Черканов неопровержимо и бесповоротно понял, что Лось нравится ему не зря.

– Ох, чай бежит! – Оба разом кинулись к костру.

Буханка черствого хлеба и небольшой туюсок со сливочным маслом – свою немудреную провизию Черканов выложил первым и теперь наблюдал, как его спутник достает из объемистой спортивной сумки пластмассовые и жестяные банки, различные коробки, открывает и развинчивает их, вытаскивает узорчатые матерчатые мешочки и разбирает их содержимое. Нашлись курятина и колбаса. Не обошлось без чеснока и шоколадных конфет. Под занавес выудился небольшой, похоже, из-под лекарства, пузырек. Лось просмотрел его на свет. Не поняв, что за содержимое в нем, открутил пробку, нюхнул и остался весьма удовлетворен, бормотнув при этом про себя: «Эге, положила горчицу, молодцом!»

– Сразу видно, собирала рука любящей женщины, – Черканов завистливо вздохнул: – Счастливый вы человек, Платон Остапович.

– Да-а, моя Диана!.. – тут же осекся. Заметил, что на лицо Черканова набежала тень. – Да и ваша супруга...

– А моя – вся вот тут, – Черканов ткнул пальцем в почти окаменевшую буханку.

– Любит или не любит, разве можно определить только по этому признаку?

– И безошибочно!

– Э, брось... Каковы припасы на дорогу – зависит просто от наличия продуктов в доме.

– Это верно только относительно разнообразия продуктов, – тихо отвечал Черканов, вертя в руках кружку с обжигающим чаем. – Но важнее, как все приготовлено и как уложено...

– Не слишком ли примитивно, чтобы вынести окончательное заключение в таком непростом деле?

– И совсем не примитивно. Посмотрите сами, – Черканов показал на скатерть-самобранку, – Разве здесь не видна воочию любящая рука?

– А у вас как?

– Жена меня не любит.

– И вы это определили только сейчас?

– Нет, знаю давно.

– А вы ее как... любите?

– Я?.. – Черканов отрицательно крутнул головой.

– Коль не любите друг друга, зачем же живете вместе? Как будто кто-то вас к этому принуждает.

– А что делать, позвольте спросить?

– Если не любишь, сразу надо рвать все узы. Уехать.

– Куда?

– Как это «куда»? Ну, в общем... Свет велик, земля обширна. Где-нибудь есть, наверное, кто-либо, кто люб сердцу. Вот к нему и прибиться.

– А если тот человек тебя не выносит и даже глядеть не

хочет?

– Э, бросьте! Так не может быть.

– А вот и может. И даже очень запросто. Эх, Платон Остапович, вы, молодые люди, иногда рассуждаете донельзя прямолинейно. Сколько семей, думаете, живут в подлинной любви? От силы половина! И на том спасибо. А другая половина живет по инерции, из равнодушного согласия, ради детей и даже из-за страха: чуть что – и карьера полетит к черту... Вот так-то, милый...

До этого Лось не замечал почему-то разницы в годах между ними. Особенно когда вместе глядели на неизъяснимое, что окружало их, когда... Оказывается, разница была.

– Таких семей может быть только единицы... – Молодость Лося еще и не собиралась согласиться.

Черканов, приобняв руками колени, невидяще уставился куда-то в пространство.

Лось, принявшийся было яро доказывать ошибку, замолчал, заметив, что до собеседника его слова совсем не доходят. Если даже сказать совершенно бесспорные вещи, выложить абсолютные истины, он сейчас их не воспримет. Видимо, Черканов все решил для себя давно и твердо. И разве выстраданное в жестоких сердечных муках убеждение человека можно изменить голословными рассуждениями вроде «должно быть так и вот так»? А в сочувствии он и вовсе не нуждался... Не найдя, что сказать, чувствуя себя оттого несколько неуютно и неловко, Лось принялся грызть кури-

ную ножку.

Внезапно откуда-то прилетела трясогузка и, трепеща крыльями, зависла в воздухе над Черкановым, едва не касаясь его лица. Тит Турунтаевич от неожиданности отшатнулся. Птаха, словно решив: «Достаточно попугала, теперь поругаю», в несколько взмахов крылышек взлетела на деревцо неподалеку и принялась гневно чирикать, вертя головкой.

– Не пойму, о чем ты мне толкуешь, – проговорил Черканов рассерженной птичке и спросил у спутника: – Вы случайно не знаете, сколько живет такая вот трясогузка?

Лось замычал, обжегшись чаем, отрицательно замотал головой.

– Если она долгожительница, то эта пичуга должна помнить тех, кто жил здесь прежде. Не изгоняет ли сна нас отсюда, невзлюбив, а? – Напрасно прождав ответа, Черканов взглянул в лицо сотрапезника и улыбнулся – Вы что, осуждаете меня или жалеете? Чего молчите-то? Осуждать – за мной вроде нет никакой вины. Жалеть – не считаю себя горемыкой. Вероятно, правы люди, когда говорят: «Где любят, там и ссорятся». У нас – тишь да глядь и божья благодать. Такую мирную и согласную семью, как наша, сыщешь редко.

– Что касается меня, с нелюбящей женщиной не прожил бы и одного дня. Как можно быть счастливым с нелюбимым человеком? – Не часто выпадали поводы быть Лосю искренне благородным. Тут и стараться было нечего. Само собой вырвалось.

– Верю. Но некие, вроде меня, так, видимо, и уйдут из этого мира, не узнав, что такое любовь... Вы, похоже, прошли через жаропышущее горнило любви, достаточно вкусили ее сладкого меда и сока. Может, объясните мне все это?

– Хотя не все обстоит так, как вы сказали, свое мнение могу высказать. – Не сумел бы дать отчета: на какое-то мгновение Лось точно почувствовал, что он старше Черканова. – Зачем вам, Тит Турунтаевич? Ваша жизнь куда интереснее моей! Расскажите вы, – смиренно, унижение паче гордости, склонил голову Лось.

Черканов легко согласился.

– Ну слушайте. Семнадцатилетним парнем я по самые уши втюрился в девушку, с которой вместе учились в техникуме в Якутске. Не знаю, чем она меня околдовала. По словам друзей, она была далеко не красавица, но для меня!.. Короче, солнце всходило именно с нею. По утрам я просыпался с радостной мыслью, что днем увижу ее. Ночью засыпал с ее именем на устах. Но, чтобы открыться в сжигающих меня страстях – и помыслить о том не смел. Собрав все мужество, раза три-четыре приглашал ее в кино. В общем, как говорится, одни сладкие страдания... – замолчал и начал прикуривать сигарету. Не только затем нужна была ему передышка.

Признаться, несколько коробил тон, каким Черканов рассказывал свою историю. Лось объяснял его внутренней ожившей вдруг болью и, пожалуй, глубокой застенчивостью, какую проще всего скрыть, знал по опыту, самоиронией.

– На последнем курсе, – продолжил повествование Тит Турунтаевич усмехаясь, – на мою ненаглядную положил глаз парень со второго курса. Что за личность? Хотите верьте, хотите нет, – прищурил глаза то ли в шутку, то ли всерьез, – он не стоил моего мизинца. И на вид был не лучше меня, в учебе – просто дундук, общественную работу совершенно терпеть не мог. Только и умел – танцы. Моя же любимая втюрилась в прохвоста, как я в нее. Души в нем не чаяла, ходила за ним тенью. Покорно сносила издевательства, какие этот... позволял над нею при людях. Спросите: что же я-то смотрел? Да как ответить. Ревновал страшно. Удумал, дурень, что она сама разберется, что заговорит в ней женская гордость. А главное, тешил свое самолюбие: пусть, мол, помучается, – поймет, какой замечательный рыцарь, – то есть, извините, я, – преданно и бескорыстно любит ее. Ждет. И будет ждать всю свою жизнь.

– Да-а... – протянул Платон Остапович, намереваясь что-то сказать, пока Черканов ворошил прутиком в костре, но передумал. Тем более что рассказчик сам приступил к делу.

– В конце второй четверти моего счастливого соперника вытурили из техникума. Кажется, я говорил, что в науках он был дундук? Обрадовался ли я такому обороту? Можете меня презирать – да! Неужели и теперь моя ласточка не поймет, с кем хотела связать свою судьбу? В чем-чем, а в этом не сомневался. Успокоившись, стал готовиться к серьезному объяснению с моим ангелом. И... вдруг! Моя царица бросает

учебу, выскакивает замуж за этого прохиндея, и они укатывают в неизвестном направлении... Какой зверь тут проснулся во мне, не знаю, – рвал и метал! Хотел даже, но... Коли остался в живых, – выход один: забыть. Я и пытался. Получилось наоборот: с течением времени все более обаятельным и прелестным являлся мне ее облик. Из-за этого проклятого чувства долго ходил в холостяках. Мне все мерещилось, что она, моя незабвенная любовь, когда-нибудь все равно вернется ко мне... И все-таки жизнь взяла свое, юношеская мечта стала блекнуть. И я женился. – Сказал, будто нырнул в омут.

Терпения Лосю не занимать, но тут хотелось поскорее узнать, как дальше развивались события.

– Перед тем как попасть сюда, работал я вторым секретарем райкома партии на Ленском побережье. Там и встретил свою девушку. Да какую там «свою», какую там «девушку» – поблекшую, неряшливую женщину. У нее уже было двое детей. Муженек превратился в форменного «бича». Ну и встреча! Что же, вы думаете, было потом?

Лось изобразил на лице недоумение, развел руки.

– Меня хватил солнечный удар. Я, балбес эдакий, опять закусил удила, забил копытом. «Выву страдалицу из рук злодея!» – Бог мой, какое святое благородство, жажда самопожертвования и самоотречения закипели в этой груди! – Хлопнул себя по брезентовой куртке. – Готов был вызвать на поединок самого страшного дракона! С женой, решил окон-

чательно и бесповоротно, развожусь. Но... спасло от великого жертвенного подвига, что красавица и глядеть на меня не желала. Поздоровуюсь – еле-еле кивнет головой, хочу заговорить – не отвечает. Однажды в сельпо оказался в очереди за нею. Ей не хватило сколько-то копеек. Щедрой, дрожащей от радости рукой я положил их на прилавок. Продавщица уже сгребла мою мелочь, но моя прелестница, затребовав лепту обратно, с ехидной усмешечкой швырнула монеты на прилавок передо мной: «Это не мои деньги, а вот этого гражданина! Запишите, я завтра же занесу». Итак, я – «гражданин»! Так-то, Платон Остапович, милый вы мой! Может, хватит? Небось думаете, с чего это старую перечницу потянуло на исповедь?

– Что вы, Тит Турунтаевич? – от чистого сердца отмел подозрения в праздном любопытстве Платон Остапович, заплескав и руками, и глазами. – Рассказывайте, пожалуйста! Интересно необычайно!

– Дальше будет еще интереснее, – усмехнулся, как делал это много раз сегодня, Черканов. – Пока суд да дело, муженек моей, не знаю, право, как и называть теперь, по пьяной драке загремел в тюрьму. Какой человек не нуждается в сострадании? Человек я, как вы могли уже убедиться, сердобольный – поперся к ней домой. Повторяю про себя, что скажу в утешение и в ободрение: «Не крушись, не бойся, в беде одну не оставлю». Встретила меня злым оком. Сесть не предложила. Пришлось беседовать у порога. Вижу, все нехитрые

пожитки увязаны – переселенцы, да и только.

– Куда это собираетесь?

– На кудыкину гору!

– Неужели и спросить нельзя? Не совсем мы посторонние: вместе учились все-таки.

Смягчилась как будто:

– Поближе к месту, где муж отбывает срок.

– Когда едете?

– Завтра.

– Может, стоит поразмыслить еще?.. Вашему мужу, человеку молодому и здоровьем не обиженному, за несколько лет ничего не сделается. Вы подумайте о себе, о детях. На новом месте будет трудно отыскать и жилье, и работу. Не лучше ли будет остаться тут? Я бы стал помогать...

– А-а, потому и прибежал, высунув язык, что считаешь меня свободной? Что, в полюбовницы зовешь, кобель такой-сякой? И не мечтай! Катись прочь с моих глаз!

– Вот как! – вернулся Черканов в настоящее время. – Надо было видеть ее, взбеленившуюся, с растрепанными косами, как у ведьмы. И... как же необыкновенна она была в тот миг! Прекрасна? Не знаю. Было в ней что-то завораживающее. Было!.. Но... в такой ситуации, понимаете, не до выяснения истины – в самую пору уносить ноги. С тех пор не встречались. Не представляю, что горе-муженек опомнится, вернется когда-нибудь в человеческий образ. А бедная женщина с двумя детьми на шее где-то мыкает горе. Она нейдет

у меня с ума. Ночью ли, днем ли, как останусь один, сразу же вспоминаю о ней. Если б позвала, очертя голову побежал бы на край света, – Черканов кончил свою исповедь.

Оба долго сидели молча.

– Скажи, что это такое, любовь или насмешка жизни?

Ждавший подобного вопроса Лось, однако, вздрогнул от неожиданности. Сам ломал голову, прикидывая и так и этак. Ответил не слишком уверенно, запинаясь:

– Больше похоже на любовь.

– Да? Вы убеждены?

Признаться как на духу, убежден Лось не был.

– Может, и не совсем, но...

– Ага, нужно было бороться?

Лось обрадовался подсказке. Странно, что это не пришло самому в голову.

– Ну конечно! Конечно, бороться. И не сдаваться!

– Та-ак... И тогда бы я преодолел один шаг, верно?

– Какой шаг? – опешил Лось.

– Ну, как же, от любви до ненависти, говорят, один шаг.

Стало быть, и в обратном направлении не больше.

– Вот видите, вы же сами все превосходно понимаете, милый Тит Турунтаевич, – облегченно, радуясь выходу из безвыходного, показалось в какой-то миг, положения, молодо засверкал зубами Платон Остапович.

– Я-то понимаю. Она не понимает и не хочет. Подскажите, как мне еще бороться?

Лось развел руками. От его уверенности, что он чему-то, самому главному, научил беднягу Черканова, почему-то вдруг ничего не осталось. Он и сам уже не знал, что такое – любовь. Лицо стало беспомощным, как у младенца.

Костер прогорел и только изредка помигивал тлеющими угольками, вокруг некоторых пыхало голубенькое пламя, тут же падая.

«Да-а...» Кто сказал? Или вовсе и не сказал – тяжкий вздох вырвался из чьей-то груди.

Уже к вечеру путники прибыли в алас Кытыя. Старик Дархан, копавшийся на подворье, долго вглядывался в направлявшихся явно к нему незваных гостей и не мог никак узнать: кто бы это мог быть? Хопто нехотя поднялся и, вероятно, вспомнив о своей обязанности облаять новоприезжих, лениво взбрыхнул несколько раз, затем завилял хвостом: увидел знакомого человека.

Черканов познакомил Дархана с Лосем.

– Старче, по-старинному он – улусный голова, по-нынешнему – председатель райисполкома. Фамилия у него интересная, звериная: Лось, что значит Сохатый. Звать: Платон Остапович.

– Такая хорошая фамилия не может не понравиться, – улыбаясь, Дархан крепко пожал протянутую руку Лося. – Не чета твоей. Сохатый– не черкан<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> 1 Черкан – небольшая снасть; нечто вроде деревянного капкана.

– Ты неправ, старый. Такой уловистой снасти, как черкан, еще надо поискать. Особенно встарь, когда о железных капканах и не слыхивали.

Дархан и Намылга засуетились: часто ли наезжают столь уважаемые и дорогие гости? Беда, негде было бы принять и нечем потчевать— есть все, чего душа ни пожелает. И за красною речью дело не станет.

– Старче, уж не больно ли щедро ты начал раздавать налево-направо свои исконные земли, а? – вперил в Дархана суровый взор свой Черканов, подняв чашу с кислым молоком.

– Как это? – испугался Дархан. Не понял шутки.

– А кому ты уступил долину Харгы?

Дошло до старого. Но не принял ласковой шутки, нахмурил седую бровь.

– Небось сам радостно трубил, что обнаружено золото. Похоже, там постарались твои любимые золотокопатели. Они же побывали и выше – на Туруялахе.

– Хе, я привык уже, что в конце концов любая вина падает на мою голову, – снисходя и прощая слабых и сирых, находящих виновника в лице великого, не жалеющего ради их счастья ни здоровья, ни сил, ни самой единственной жизни, печально отвечивал Тит Турунтаевич. Добавил же неожиданное, сути затеянного разговора как будто и не касаемое: – Не известно еще, как и когда впоследствии аукнется это нашествие... – Приспустил набрякшие веки.

Зачем сказал? Да и что именно? Ничего как будто особен-

ного. Но Дархан, чуток стариковский слух, сердце и того более, уловил в голосе что-то вроде тревоги и удивился.

— Ну, будем надеяться, все будет благополучно. — Привычно перебирая пальцами редкую бороденку, Дархан постарался успокоить и гостей, и себя. — Советская власть распорядится, как лучше.

Лось все время больше помалкивал. Если и высказывался, нахваливал пир и хозяев пиршества...

Нет, не понять не вкусившему блаженства отдохновения, какое испытывал теперь Платон Остапович, смутно сознавая, что пробудился-таки. Трапеза была, несомненно, излишне обильна. Хозяева в грязь лицом не ударили, а гости не чванились...

У-ух! Как только не задохнулся ночью? Духмяный аромат неведомых трав и цветов витал в полумгле помещения, где Лось сейчас находился, где, само собой, и почивал. Приглядевшись повнимательнее, уже не сомневался: спальня — амбар, ложе — дровни. И... возликовал: «Мать честная! Да что же это со мной творится? Где я?» — И не спешил ответить, смаковал предчувствие того, что явится, что еще более озарит. И не выдержал. «Не в детстве ли?» (Нужно ли говорить о сеновале и прочем? И без слов ясно. Пожалуй что, и яснее.)

Откинув пышущий жаром тулуп, бодро вскочил с саней. Пошарил вокруг глазами: где-то тут должен быть и Тит Турунтаевич. Где же он, родной человек? Вторые дровни были пусты. В приоткрытую щелку двери сочился призрачный

свет.

Платон Остапович выбрался из амбара наружу. И снова ощутил волю.

Но что это? Ночь – не ночь, утро – не утро. Небо стояло высокое-высокое, и отовсюду струился мерцающий матовый свет. Изредка на опушке леса всщебетнет полусонная птичка. Где-то на озере квакнет лягушка. У дымокура, источающего тоненькую струйку дыма, закрыв глаза и пережевывая жвачку, безмятежно дремала корова; ее глубокий, утробно печальный вздох разносится далеко окрест. Обрадованно подскочил пес, замахал-завилял хвостом: признал за хорошего человека.

Среди редкого березняка, стоящего посреди луговины, Лось заметил, как что-то мелькнуло. Похоже, человеческая фигура. «Не Черканов ли бродит?» Размашисто зашагал туда.

– Тит Турунтаевич! – никого не обнаружив в березняке, громко воззвал. И еще раз, шутейным окриком. Мало ли что, и взрослому человеку иной раз охота сыграть в «казаки-разбойники». – Ти-ит Турунтаеви-и-ич! Ку-ку!

– Ку-ку! – ответили откуда-то сверху.

Лось от неожиданности споткнулся о кочку, едва удержался на ногах: «А-а?... А!»

С неба опять заговорило:

– Черканова тут нет. А это я – Чаара!

«Какая еще Чаара?... Чары?...» Чиркнуло зарницей и по-

гасло в мятущемся сознании Платона Остаповича. «Меньше надо...» – мелькнуло вслед. Недодумалось: чего меньше-то?

– Взгляните навверх, Платон Остапович! – подсказал нежный голосок.

«Откуда знает мое имя?» Впрочем, это было не самое удивительное. Послушно поднял голову.

В седловине, какую образовывали два разошедшихся в разные стороны толстых сука огромной березы, болтая ногами, сидела прелестная девочка. Лось узнал ее незамедлительно: старикова внучка! Он еще и обратил внимание, как она резвым челноком сновала вчера (или еще сегодня?) между амбаром и домом, – помогала готовить застолье. Значит, ее зовут Чаара! Вчера поинтересоваться было как-то недосуг.

– Рыбой угоститесь? – не подозревая о пережитом гостем, как ни в чем не бывало спросило небесное создание. – Дедушка велел, чтобы я подала вам, когда проснетесь. Или будете ждать Черканова?

– С этим позже, – вяло и хмуро отвечал с земли печальный Платон Остапович. – А где Тит Турунтаевич?

– Ушел вместе с дедушкой осматривать стадо. Во-он туда, – сунула пальчиком куда-то в белесые сумерки. – Дедушка и на ночь останется там. А Черканов скоро должен вернуться. Это я его поджидаю.

– Чтобы угостить рыбкой? – Про себя подумал: «Господи, значит, еще все-таки ночь? Пора бы и привыкнуть к белым

полярным ночам...», заодно и пожурил себя.

– Нет. Чтобы спросить.

– Это о чем, если не секрет? – Доброе расположение духа, кажется, помаленьку возвращалось. Недавний страх, уже отлетевший, вызывал улыбку. Только ведь кому расскажешь? «Хотя отчего бы нет когда-нибудь, когда буду уже на пенсии?»

– Почему секрет? – Некоторое время Чаара серьезно смотрела сверху на Платона Остаповича. – Кстати, про это должны знать и вы. Ой! – всполошилась вдруг. – Так же нельзя разговаривать: вы – на земле, я – на дереве... Давайте я сойду лучше.

– Не надо сходить! – Бедовый мальчишка разыграл в Платоне Остаповиче и полез на соседнюю березу.

– Осторожнее! Ой!.. Осторожнее же! Расшибетесь в... – И правильно, что недоговорила.

– О-го-го!.. Ну, видела? – Пыхтя и обливаясь потом, Лось уже восседал верхом на толстом суку. – Теперь разговор будет происходить на высоком, так сказать, уровне. Слушаю вас!

– Черканов сказал дедушке, что здесь, на нашем Джэнкире, будет организован прииск, образуется отделение совхоза, возникнет новый поселок. Когда это произойдет?

– Когда? – назвать точный срок Лось затруднился.

– Через пять-шесть лет?

– Ну, за это время-то – конечно! Успеем. Обязательно да-

же. Может, и раньше.

– В таком случае после университета – прямо сюда!

– Кем же нам ждать вас?

– Врачом.

– Приезжайте. Милости просим.

Чаара легко и быстро, словно белочка, соскользнула на землю. Раскинув руки, плавно закружилась:

– Как все чудесно: и земля, и небо!..

Платону Остаповичу представилось, будто он, вознесенный на волшебных крыльях этой молочно-белой ночи, неведомо и стремительно летит над просторами прекрасной земли, которую можно бы сравнить только со сказочной страной олонхо, полной чудес и тайн. Он ощутил в себе такую мощь и волю, какие теперь позволяли ему творить невозможное. Прежде – невозможное. Всю его душу, все существо его объело страстное желание эти мощь и волю, которые он почуял в себе, без остатка направить только на приумножение добрых дел, хороших поступков, благородных мыслей. И если бы дано ему было десять жизней, все до последней посвятил бы тому, чтобы эта чудесная земля с каждым днем, с каждым годом расцветала пышней и краше, чтобы люди на ней жили еще более счастливо.

То ли чей голос, то ли порыв ветра тихо шепнул:

– ...эта земля... это небо...

Лось полной грудью набрал воздух и выдохнул:

– Как прекрасны!

# Глава 7

*Утро*

*9 часов 30 минут*

«...Таким образом, товарищи, не только мы, руководители и специалисты, но и каждый простой горняк должен твердо понять, что месячный план под угрозой срыва... кхэ, кхэ!.. – прокашлявшись, тягучий голос продолжил тяготящее – Всем нам без исключения необходимо трудиться с полным напряжением всех сил. Каждый должен сказать себе: «Судьба плана прямо зависит от того, с каким успехом проработаю именно я!»

Непосвященный, стоя он за неплотно закрытой дверью кабинета, откуда просачивался голос, мог бы за милую душу решить, что по радио передают какую-то знаменитую пьесу на магистральную тему; и может, угадал бы в роли положительно-передового, но смертельно умученного борьбой с ретроградами, консерваторами и прочими чиновниками новатора любимого артиста, чья фамилия, как назло, выскочила вдруг из головы.

Обладая нечаянный слушатель воображением, увидел бы воочию тяжелое лицо героя с набрякшими от бессонницы и горьких раздумий веками, большие натруженные кулаки, вбитые в стол. Популярный артист не помогал себе руками – оттого и говорил не громобойно, без надрыва. Не вещал. Не

призывал. Он просто и честно доносил до народа правду. Правда, сказанная тихо (тут, несомненно, ощущалась школа «чеховского театра»), куда глубже проникает в душу. А зачем вообще-то надрываться криком по любому поводу?

Скрипливая хрипотца... Разве что она выдавала затаенную тревогу и сдерживаемое усилием воли волнение:

«Мы сегодня подробно обсудили конкретные недостатки, имеющие место в деятельности горных предприятий, назвали поименно отстающие прииски и карьеры...»

«Молодец, – успел бы подумать слушатель, – явно руководитель нового типа: режет правду-матку в глаза, невзирая...»

«К сожалению, недостатков гораздо больше, чем мы их сегодня называли. Это ясно. Как, каким путем устранить их, – об этом вы знаете не хуже меня. Вы и должны это знать. И все-таки мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующие обстоятельства. Ну, во-первых...»

«Нам бы такого начальника! Э-э, где там, такие бывают, видать, лишь в пьесах... – закручинились за дверью, – Э-эх!» Его бы так кто-нибудь попросил быть человеком, да он бы... А коли тебя отматюгают, снимут стружку, поневоле назло станешь черт его знает кем – самому после тошно! Надо бы, ох как надо, чтобы такие вещи слушало все начальство без исключения!.. Пьеса, напрягся памятью, называлась, кажется, «Совесть» или... «Рабочая честь»? Точно не вспомнил. Но – близко! Во всяком случае, что-то в этом духе.

Но это была не радиопостановка. И монолог, утекавший хвостами и обрывками фраз в коридор, принадлежал не народному артисту СССР. Никого не было и под дверью.

Кэремясов же, чем дольше слушал глухой монотонный голос Зорина, тем острее чувствовал набухающее в себе раздражение. Как мог, гасил его. Но... что толку себя обманывать? Такое дряблкое, точно спросонья или, черт подери, с похмелья выступление почти наверняка может свести на нет весь эффект его, Кэремясова, духо-подъемного обращения. Это ведь за ним заключительное слово. За-ключи-тель-ное!

Зорин уже перешел к «во-вторых»...

В это самое мгновение Кэремясов будто отключился. Может, стал хуже слышать. В мозгу ворочалось только: «Убил! зарезал!» Завершающее слово, подводящее итог сегодняшнему бурному обсуждению важнейшего, капитальнейшего вопроса, должно было прозвучать резко и мужественно. Даже – безапелляционно! А после мочала, которое жует и никак не прожует этот Цицерон, мямля, давясь и запинаясь, не то что говорить, жить не хочется. Передразнил про себя: «Знаете не хуже меня...» Если это так, зачем было валять ваныку – затевать эту радиоперекличку? Чтобы успокоить его? Сейчас его может успокоить только одно: золото!

Знал бы «артист», какие страсти кипели в возмущенной груди единственного его «зрителя»! Но откуда он мог знать?

«Погоди-ка! Постой, постой...» – Кэремясов снова начал слышать, и, чем внимательнее вслушивался, тем больше

светлело у него внутри – истекал мрак безнадежности; вместе с ним уходили и тревога, и раздражение.

Оказывается, своим бесцветным, непроспавшимся голосом Зорин излагал очень дельные вещи, вплоть до конкретного совета: как улучшить транспортер на таком-то промприборе или где раздобыть запчасти и как устранить поломку чьего-то бульдозера.

«Да-а... Таас Суорун – дока из док! Есть ли что-нибудь в его громадном хозяйстве, какая-нито мелочь, о чем бы не знал? Да-а...» Уже не жалел, что его заготовленная речь явно пошла насмарку. Бог с ней! В сравнении с зоринскими его выступление, наверное, выглядело бы чересчур общо; может, даже расплывчато. Конечно же государственный план – непреложный закон. И план должен кровь из носу быть обязательно выполнен! Впрочем, об этом директора приисков, секретари парткомов знают нисколько не хуже... Поймал себя на «не хуже». Снисходительно усмехнулся: как мог разозлиться за то на Зорина? Чудак...

– У кого вопросы?

– Все ясно... понятно... – зашипело-затрещало-заухало в динамике. Голоса переплелись, смешались: – Ясно понятно все Михаил Яковлевич... – расплелись, шум прекратился.

– Тогда на этом кончаем. Вам, дорогие товарищи... – Зорин повернулся к Кэремясову. Тот согласно кивнул, – желает успехов в вашем труде секретарь райкома Мэндэ Семенович и выражает уверенность, что вы сделаете все возможное...

– И даже невозможное! – крикнул Кэремясов в микрофон. Фраза, пришедшая на язык вдруг, как бы и сама собой, нечаянно, стоила произнесенной речи. Был доволен.

– Спасибо выполним неподведем сделаем всевозможное и невозможное!!! – зачавкал эфир.

– До свидания, товарищи! – Зорин надавил кнопку. – Вот и кончили.

Длилась радиоперекличка ровно тридцать пять минут.

*10 часов 5 минут*

Дела, дела... Как им не быть – были. И выше головы. Но главное – здесь. Уходить и не спешил. Тем более Зорин жестом руки усадил его в кресло.

Усадить усадил, а словно забыл о его присутствии: хмурия брови и шевеля губами, принялся перебирать лежавшие на столе бумаги, бумажки и бумаженции. Вряд ли все это было срочное. Пауза необходима.

В зазоре нуждался и Кэремясов. Вот почему, поглядев с улыбкою на занятия хозяина, он пружинисто выбросил свое тело из кресла и затеял прогулку по кабинету взад-вперед; заодно и рассматривая апартаменты, кои имел возможность изучить множество раз, но сегодня – особым взором.

Притчею во языцех все еще оставалось прежнее великолеpie, от которого теперь и следа нет.

А было, видно, на что поглядеть. Было! Вызвать картину непредставимой роскоши Кэремясов, увы, оказался слаб. Вряд ли она напоминала стиль королевских покоев, прав-

да, тоже им не виденных, но, утверждают свидетели, было – хоть стой, хоть падай! Мэндэ Семенович мог судить лишь о размерах, если из одного Зорин выкроил сразу три кабинета. Его – бывшая комната отдыха. Прямо сказать, не маленькая – мини-банкетный зальчик, эдак гостей на двадцать. Может, на том самом месте, где теперь восседал суровый дядя, раньше-то красовалась себе кушеточка, рядом – столик с фужерчиками да рюмочками. Недурно, а? «Эх Зорин! Эх Михаил Яковлич! От какой красоты отказался!» – шутил про себя Кэремясов, веселил себя, коротая время. А если серьезно, – уважал. Нравился ему этот дядя: такого не купишь! Такого дешевкой не соблазнишь – не клюнет!

«Идет охота на волков, идет охота!» – вдруг ни с того ни с сего вышагал. Удивился – Ну, привязчивый диссидент... Как его?» И опять не вспомнилось. А вот вышагал ни с того ни с сего: не думая думалось все о Зорине. И о том, что, руша купеческие замашки бывшего директора, перво-наперво ликвидировал полутайную охотничью резиденцию на Тонгулахе, выстроенную для забав начальства. Сам хозяин с присными прибывал сюда по воскресеньям подрассеять служебную скуку. Тут и высоких гостей, столичных в том числе, принимал с винами заморскими и сибирской банькою. О таком, к слову сказать, в фельетонах писано. Прав, выходит, хрипатый диссидент? Не понять, как, но – прав.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.